

Анархизм и другие препятствия для анархии

Боб Блэк



2004

Оглавление

Боб Блэк, революционер	4
Последний Интернационал	4
Нульработа	4
Субгении	5
«Лумпаникс»	7
Анархия после лефтизма	9
Элементарное ватсонианство	11
Боб Блэк – охотник за бабочками	13
Рецензия на Конана	16
Упразднение работы	19
Первобытное изобилие	33
Либертарианец как консерватор	40
Анархия (притча)	47
Анархизм и другие препятствия для анархии	49
Нельзя взорвать социальную институцию... но как интересно попробовать	52
Феминизм как фашизм	57
Обман категории А в кружке	62
Из мусора – только мусор	66
Предисловие к «Праву на жадность»	75
Оглядываясь на «Покидая двадцатый век» – реализация и подавление ситуационизма	78
Культура нападения	85
Кабацкая драка в печати	103

Под подпольем	105
Невеста сына возвращения из-под подполья или Под подпольем II	114
Лучший книжный каталог в мире	119
Французская болезнь	124
Марко Поло фундаменталистов подполья	125
Ницше против гуманизма	127
Чувство места	128
Новые темные века	130
Так сказал Митти	132
Идти против природы – это тоже природное свойство	133
Что бы вы ни предлагали, я против	135

Боб Блэк, революционер

Последний Интернационал

Боб Блэк появился на свет 4 января 1951 года под именем Роберт Чарльз Блэк-младший. Чем он занимался вплоть до второй половины 1970-х, науке неизвестно; самое раннее его достижение, сохранившееся в анналах, таково: Боб Блэк изобрел слово «феминаци». Это вроде феминиста, но ругательное. В 1972 году.

В 1977 году Блэк получает степень доктора юриспруденции и перебирается в Сан-Франциско, Калифорния. Примерно тогда же Блэк начинает подписываться «Последний Интернационал».

Истоки Последнего Интернационала – в листовках и плакатах, распространявшихся ситуационистскими группами конца 1960-х, и в психоделическом практике калифорнийских радикалов-дискордианцев. Справедливо считая, что официальные масс-медиа ничего хорошего не покажут, а неофициальные («альтернативные») ничуть не лучше, Блэк стремился обойти и те, и другие – распространяя свои мысли непосредственно на столбах. Листовок этих получилось около десятка тысяч или еще больше. Это не считая копий.

Последний Интернационал действовал на двух уровнях – Блэк одновременно жестко высмеивал левацкую догму и утверждал ее в тех же самых словах. Лейтмотивом листовок были слова анонимного граффити (Париж, май 1968-го): «Я марксист, марксист-граучист». Граучо Маркс – так звали американского комика, сторонника сатиры и буффонады, одного из братьев Марксов.

Американский анархизм второй половины XX века, как и левое движение в целом, был явлением сугубо академическим, закостенелым и предельно далеким от окружающего. Леваки использовали дикий суконный язык, перенасыщенный непонятным (и по большей части совершенно бессмысленным) политжаргоном. Сталкиваясь с левым движением, человек ощущал неприятное дежа вю – устарелые помятые инвалиды ума, как будто перенесенные из XIX века, вели бесконечное нудное обсуждение вопросов, затрепанных до смерти еще при прадедушке и прабабушке. Последний Интернационал был попыткой перевести левый дискурс с суконного языка на человеческий.

Попыткой, естественно, неудачной – суконные мысли нельзя выразить иначе, чем так.

Нульработа

К концу 1970-х Боб Блэк обнаружил, что левая философия изначально порочна и противоречит сама себе. Анархисты отрицают государство, социалисты критикуют

пороки капитализма. И те, и другие не видят, что источник всех зол не в государстве и не в капитале, государство и капитал суть формы существования зла: иерархии, принуждения, эксплуатации, цензуры. Зло функционально, и его функция – организация труда.

Организованный труд, будь он на государственной фабрике или на частной, невозможен без организации. Иначе говоря – власти. Все остальные формы зла (школа, полиция, церковь, психиатрия) необходимы для адаптации человека к работе. Не будет работы – не будет и эксплуатации.

Тезис этот принадлежал дадаистам. Тристан Тцара писал: «Я убежден, что Америка должна ответить за постыдное клеймо нашей эпохи: фетишизацию труда, идиотскую идеологию, основанную на стремлении к материальному прогрессу и презрении к утопии, к поэзии, ко всему, что стремится к усовершенствованию человеческой души... Я должен и буду противостоять этому влиянию... самым насильственным рывком вперед – идеей, и самой творческой работой – бездельем.»

Ситуационизм, перенявший у дада политическую теорию, перенял у дада и правильное отношение к работе. Американские анархо-примитивисты конца 1960-х (Джон Зерзан в первую очередь) снабдили антииндустриальную мысль мощным научным аппаратом, взятым из антропологии. Было доказано, что общество охотников и собирателей было здоровее и свободнее, чем общество, построенное на агрикультуре: свободно от труда, недоедания и эксплуатации и куда счастливее. Боб Блэк собрал эту мозаику в смертельно убедительное полотно.

Концепция нульработы до того проста, что непонятно, почему кто-то все еще работает. Из тысячи американцев девятьсот девяносто девять делают черт знает что. Около пятисот переключаются с места на место бессмысленные денежные или налоговые бумажки; еще сто следят за тем, чтобы никто этих бумажек мимо места не пронес. Сто человек чинят автомобиль, нужный остальным бессмысленным товарищам для поездок на их вредную и бессмысленную работу. Еще сто называются журналистами и рекламщиками: они врут всем остальным, чтобы никто не догадался, что эти вещи не нужны. Себе тоже врут, разумеется, во избежание когнитивного диссонанса. Еще сотня врут детям и подросткам по причине административного фашизма – это называется школа и институт.

Если отменить деньги, рекламу, масс-медиа, выборы, частный транспорт, школу, сигареты, кока-колу и кучу других очевидно ненужных и вредных вещей, у людей неожиданно окажется масса свободного времени. Это и называется нульработа. Работать не должен никто, потому что запахло.

Преподобный Айвен Стэнг сказал однажды: «Возможно, когда-нибудь в будущем историю будут разделять на две части – “до Боба” и “после Боба”». В современной Америке нет мыслителя важнее и влиятельнее, чем Боб Блэк. Лучше всех живут обезьяны бонобо.

Субгении

Жизнь Блэка на протяжении первой половины 1980-х документирована довольно хорошо, по преимуществу – в судебных документах. Первое же публичное выступ-

ление Блэка («Упразднение Работы», 1981) привело к мордобою, перешедшему в затяжную судебную баталию. Следующий конфликт (с журналом «Processed World») длился три года и сопровождался жуткими обвинениями с обеих сторон, сутяжничеством и битьем морды.

Ситуация, увы, типичная. За сто лет до Блэка главный американский анархист Иоганн Мост имел аналогичного сорта проблемы с теми, которые не хотели признавать его за главного, вплоть до беспочвенных (и заведомо ложных) обвинений во стукачестве. А Эмма Голдман била Моста по морде кнутом.

Калифорнийские леваки и анархисты принимают сторону «Processed World», поскольку тоже хотят напечататься, а как же без этого. В 1985 году «Processed World» добивается своего, и Блэк уезжает из Калифорнии в Бостон. Мордобой в комбинации с полицейским преследованием творит чудеса.

А самиздатская культура, к созданию которой приложил руку Блэк с Последним Интернационалом, тем временем пахнет, цветет и всячески зеленеет. К середине 80-х почтовые рассылки приобретают то же значение, что десять лет спустя приобретет Интернет – тысячи радикалов по всей Америке сами печатают и распространяют по почте и в обход магазинов и издательств самиздатские журналы, плакаты и памфлеты. Для желающих узнать адреса любителей свободного слова издаются специальные самиздатские журналы исключительно с адресами. Чуть позже Айвен Стэнг напишет адресную книгу и своего рода энциклопедию почтовых рассылок, где окрестит эту культуру «High weirdness by mail» – «чудовищное по почте». И действительно, из открывшейся самиздатской дыры на свет божий полезла наичудовищнейшая бредятина: сюрреальные извращения, которые заставили бы покраснеть Исидора Дюкаса, копрофаги-сатанисты, ампутаторы-любители, шизоконспирологи, наркоши, уфологи и некрофашисты.

Техасец Айвен Стэнг был одним из ранних энтузиастов чудовищного. В начале 80-х он основал Церковь Субгения, предложив населению наизюбнейшую смесь чудовищного в одном флаконе. Церковь Субгения являла собой пародийный религиозный фундаментализм психоделического толка (помесь дискордии и саентологии), перемешанный с уфологией, телесными практиками, конспирологией самого радикального сорта, пропагандой ненависти, наркотиков и нуляработы. В парламенте субгениев нулябота называется слак.

И визуально, и идеологически Церковь Субгения заимствовала добрую половину материала у Боба Блэка – папы и одного из ранних энтузиастов нового культа. Стэнг никогда не скрывал колоссального влияния, которое оказали на него листовки Последнего Интернационала.

1985-1986 годы – светлая полоса в жизни Блэка. Он счастливо влюблен, его первую книгу («Упразднение работы и другие эссе») издает «Лумпаникс», Блэк – популярный и широко востребованный эссеист.

Катастрофа случилась в 1987 году: Донна Косси, подруга и любовница Блэка на протяжении многих лет, оставляет его и уходит к субгению по имени Ненсло. По мнению Блэка, Ненсло постоянно звонит ему по телефону с целью устрашения. Блэк, как всегда, обращается в суд. Ненсло прекращает преследование, а Блэк перебирается в Олбани, штат Нью-Йорк, и там бомжует, а потом живет на пособие.

Как всегда случается в подобных случаях, заинтересованные стороны рассказывают эту историю каждый по-своему, но несколько фактов можно установить с достоверностью. Донна Косси до сих пор живет с Ненсло, сейчас – в Портленде, штат Орегон; она написала несколько книжек и имеет сайты, но Блэка не упоминает (даже в тех случаях, когда это нужно по профессиональным соображениям – Донна Косси специализируется по этнографии всевозможных безумцев и радикалов). Ненсло, напротив, ругательски ругает Блэка через слово, хотя прошло уже пятнадцать лет после того, как они раззнакомились.

На волне скандала Блэк порывает с Церковью Субгения, а Церковь в лице Джона Хаген-Бреннера, ближайшего друга и компаньона Стэнга, присылает ему по почте бомбу, в качестве шутки. Блэк подает в суд на всех заинтересованных лиц и, как всегда, оказывается прав.

Интересная историческая деталь. В момент, непосредственно воследовавший разрыву с Донной Косси, Блэк неожиданно ощущает в себе антисемитизм, дает интервью антисемитского содержания, да еще публикует статью в журнале IHR. «Institute for Historical Review» – солидное учреждение, занимающееся научным опровержением Холокоста. Впоследствии никаких контактов с антисемитами Боб Блэк не поддерживал, хотя антискинхедскую риторику коллег по движению (всяких там мерзавцев, мудаков и позеров типа Джелло Биафры) не приветствовал. Либерал-жандармы, в свою очередь, записали Блэка в антисемиты, и до сих пор (уже пятнадцать лет тому как) насчет этого возмущаются громогласно.

«Лумпаникс»

В Олбани, в 1987-1995 годы, Блэк занимается этнографией маргиналов и маргинальных явлений, задачей, отчасти решенной книгой Стэнга «High weirdness by mail» и отчасти – монографией Донны Косси «Kooks». В первой половине 1990-х выходят еще две книги Блэка: «Beneath the underground» («Feral House», октябрь 1994) – про маргиналов, и «Friendly Fire» («Autonomea», декабрь 1992) – коллекция документов, посвященных судебным и другим конфликтам с левым движением, в том числе протокол суда. Блэк дружен с двумя из ключевых фигур подполья – Адамом Парффри («Feral House») и Майком Хоем («Loompanics»).

Парффри – прославленный этнограф радикального люда и редактор нескольких антологий (среди которых знаменитая «Apocalypse Culture», давшая название культурному направлению). Другую такую антологию Парффри выпустил совместно с Блэком: «Rants and Incendiary Tracts, Voices of desperate illumination 1558 to present» (1989). Книга эта достаточно интересна тем, что труды анархистов и левых радикалов идут подряд с сочинениями Хомейни, Селина и Эзры Паунда. Расплодившиеся к середине 1990-х в невероятном количестве жандармы от политкорректности написали на эту книжку (и на Боба Блэка вообще) чудесный донос и назвали его «Анархо-интегрализм». Трактат сей (как и все нападки на Блэка со стороны европейских левых) являет собой достаточно смешной артефакт культурных мискоммуникаций. Дело в том, что европейские левые живут на гранты от правительственных и парламентских организаций, и обвинить кого-то в политнекорректности (а тем паче

в антисемитизме) значит лишить его партию средств к существованию. Поэтому такие обвинения принимаются серьезно, с обвиненным перестают общаться (однако обвинения во вторичной ассоциации с фашистом – «такой-то фашист, потому что видели, как он разговаривает с известным фашистом» – действуют не менее эффективно). А в Америке всем все равно.

Политическая позиция самого Блэка была лучше всего изложена самим Стэнгом в предисловии к «Упразднению работы»: «...он не справа и не слева от центра; он находится на той отдаленной точке ПОСЕРЕДИНЕ между правым и левым на том самом месте, где смыкается образуемая ими окружность». Блэк левее самого правого и правее самого левого в такой степени, что эти мелкие различия теряют смысл. В «Книге Субгения» эта позиция объявляется официальной позицией Церкви. И действительно, анархо-интегрализм.

Именно эту позицию взял за образец Адам Парфри, легитимировавший ее в качестве нишевой субкультуры. В американских книжных магазинах спешно открывают полку с надписью «Apocalypse Culture» – для таких вот продуктов, которые с каждым годом делаются все популярнее и обыденнее.

Еще был «Лумпаникс», «лучший книжный каталог в мире», как гласит его собственный рекламный лозунг. «Лумпаникс» – издательство, распространяющее свои продукты через колоссальных размеров каталог, наполненный в основном руководствами полубандитского содержания – «как подделывать документы», «как воровать кредитные карты», «как спрятать труп» и прочей метафизической похабщиной. Издается это не для бандитов, а для той же цели, что и «Поваренная книга анархиста» – для того, чтобы задроченный и малахольный офисный работник мог хотя бы на мгновение ощутить себя благородным террористом, бандитом и фальшивомонетчиком. Использовать «Поваренную книгу анархиста» для какой-нибудь еще цели, как известно, весьма глупо и даже опасно. Хорошая половина рецептов в такого сорта литературе (типа рецепта добывания LSD из банановых корок) абсолютно бесполезна, хорошая часть из оставшихся – просто вредна, а неплохая часть (в частности, многие бомбы и взрывчатые смеси) гарантированно взорвется не там, где хочется, а непосредственно в процессе изготовления. Такая вот «self-help» и «self-empowerment». На русский это дело переводится, я думаю, само-омощнение.

Одним из популярных авторов само-омощнения для «Лумпаникса» был Джим Хогшир, автор книжки «Опиум для народа: практическое руководство по выращиванию мака и производству опия». Книжка эта замечательна, среди прочего, тем, что за ее покупку (и в опровержение неверных утверждений, которые в ней содержались) одного человека посадили на двадцать лет.

В конце февраля 1996 года Боб Блэк приехал в Сиэтл, чтобы поработать над статьей об издателях «Лумпаникса». Блэка, ради экономии, вписали на квартиру к Джиму Хогширу. Хогшир был настоящим энтузиастом лучшей жизни через химию: он издавал самиздатский журнал «Pills a-go-go» про то, какие колеса можно есть и зачем, даже питался исключительно химикалиями. Еще Хогшир был мусульманин радикальной ориентации и требовал немедленного уничтожения государства Израиль. Если бы у Блэка был Интернет, он мог бы узнать все это заранее: Хогшир довольно много писал в Юзнет, и его сообщения были, прямо скажем, однообразны – весьма и весьма.

Что произошло в гостях у Джима Хогшира, сказать трудно. С одной стороны, мы имеем весьма внятный, убедительный и хорошо написанный очерк Блэка «Свидание с Джимом Хогширом». С другой стороны, мы имеем рассказ самого Хогшира в пересказе третьих лиц (отношения Хогшира с английским языком прохладные, как легко видеть из его статей в Юзнете; соответственно, и историю с Блэком он нигде внятно не рассказал).

Обе версии реальности сходятся в одном – Хогшир обиделся за религию и стал угрожать Блэку ружьем, а затем выкинул его из своего дома. Блэк, оказавшись посреди незнакомого города в два часа ночи и в крайнем расстройстве чувств, не нашел ничего лучшего, как пойти в полицию и рассказать ей гадости про Хогшира. У Хогшира провели обыск, он отделался тремя днями за решеткой и штрафом, а Блэка подвергли жестокому остракизму.

Блэк оправдывал стук на Хогшира тем, что тот мог (и собирался) убить его из ружья, и сам наябедничал в полицию первый, а Хогшир объяснял, что Блэк приставал к его жене. Поверили почему-то Хогширу. Сотрудничество и дружеские отношения с «Лумпаникс» и с «Feral House» Адама Парффри прекратились, как не бывало.

Все отношения Блэка с маргинальным сообществом на этой истории закончились навсегда. Впрочем, и само сообщество, сформированное почтовыми рассылками и адресными директориями наподобие «High Weirdness by Mail» и «Factsheet 5», вскоре стало анахронизмом – однако Интернет.

Интересно, впрочем, что ничего, подобного маргиналам Блэка, Косси и Стэнга, в Интернете не откристаллизовалось. Причина этого, видимо, лежит в интернет-буме 1997-2000 годов, когда каждый, кто знал, куда совать кабель от модема, мог сделать миллион, продавая рекламу на домашней странице.

Анархия после лефтизма

Лишенный привычных каналов общения и преданный виртуальному остракизму, Блэк погрузился в теоретическую полемику. Его мишенью стал закостенелый в академизме и политкорректности американский анархизм леволиберальной ориентации, особенно профессор Мюррей Букчин. Как и прежде, Блэк выбирает себе оппонентов гораздо ниже себя по интеллектуальному уровню и с удовольствием делает из них котлету. Впрочем, несмотря на свою очевидную глупость, расслабленный постмарксистский догматизм и общую бессмысленность всей фигуры, Букчин – одна из священных коров американского левацкого истеблишмента. Атака на этого ученого мужа привела к цепной реакции всей иерархии анархистов, однако американский анархизм застыл как вкопанный с благословенных времен Эммы Голдман, и его авторитетов с тех же самых времен никто не смел и тронуть.

Букчин, впрочем, первым почувствовал опасность своей системе со стороны аутсайдеров и нанес упреждающий удар книжкой «Социальный анархизм или поверхностный анархизм – непреодолимая пропасть» (1995). В книжке этой рассказывалось, что раньше все было как надо, а сейчас хрен знает откуда полезли какие-то непонятные и непонятно чего хотят, наверное, притворяются; а во всем виноват Макс Штирнер.

Ответом Букчину стали последние на настоящий момент книги Блэка – «Anarchy After Leftism» и «Withered Anarchism» (игра слов: «Withered Anarchism» значит «увядший анархизм», «Whither Anarchism» («куда, анархизм») – название статьи Букчина). Блэк выступает в роли теоретика анархии (ссылки в «Withered Anarchism» занимают чуть ли не половину текста), воюя с Букчиным на его же территории. Расклеить листовку было бы куда эффективнее, ага, но время прошло.

Удивительно, но анархизм, возникший как отказ от авторитетов и самой институции авторитета, немедленно оброс авторитетами. Авторитетами тем более идиотскими, чем более безжизненным и окаменелым становится идеал анархии; а идеал анархии в окружении таких авторитетов ничем другим стать не может. Получается, что окаменение авторитарной интеллектуальной структуры, окружающей анархизм, стимулирует вырождение самого анархизма и одновременно им стимулируется. Это не только к анархии относится, конечно.

Боб Блэк, гениальный философ, комедиант, сутяжник и скандалист, никогда не станет авторитетом. И это, наверное, самое главное, что может быть.

Михаил Вербицкий

Элементарное ватсоnianство

Работая, я попал в пробку по дороге в Дамаск. Исследуя законы о неудобствах (как будто бывают другие), я открыл «Граждане против Амдура», Кал. Прил. 2-е. Доп. 951, 267 стр. 2-я 445 (1954). В этом деле 1954 года суд постановил, что анархист, поставивший стол с книгами у ворот Сатер кампуса Беркли, виновен в нарушении общественного порядка и создании неудобств. Хотя с тех пор прошло более тридцати лет, наблюдая анархистов, вроде Джеффа Страда и Кевина Китинга, за тем же делом на том же месте, я не могу не признать постановление по сути справедливым. Но это наблюдение лишь слегка затрагивает богатства, таящиеся в материалах суда. Когда адвокату попадает в руки важное дело, он порой говорит, что «это дело для книг по истории». «Граждане против Амдура» – это дело для книг по истории болезни, поскольку в нем задан жгущий душу вопрос: «Что такое ватсоnianский анархист?» Есть ли это последователь того Ватсона, который изобрел мисбихевиоризм, как Б.Ф. Скинхед? Или того доктора Ватсона, что был под влиянием своего доброго друга Морлока Холмса? Но сперва факты.

Шестого февраля 1953 года офицер полиции остановил Руэла С. Амдура, мужественно подпиравшего свой стол, полный литературы против Акта Смита и процесса над Розенбергами. Поскольку у Амдура не было разрешения, ему велели уйти под угрозой ареста. Вследствие чего Амдур произнес те слова, что сделали его преступником и навеки стали частью закона нашей страны: «Давай, арестуй меня! Я ватсоnianский анархист, и я настаиваю на своих конституционных правах!»

Ватсоnianский анархист! Прямо там же, на месте, в библиотеке южнокалифорнийского отделения Американского союза гражданских свобод я понял, что я тоже ватсоnianский анархист – что бы это ни значило, чего бы это ни стоило. (Я всегда чувствовал себя не в своей тарелке среди честных активистов АСГС. Ни один член какого-нибудь меньшинства, ни один адепт нетрадиционной субкультуры не чувствовал отчуждения так сильно, как я, в тот день, когда вошел в библиотеку, в которой, кроме меня, были только трансвестит, карлик и лесбиянка.)

Но если я первым пошел по следу снежного человека, оставленному Амдуром (давно пропавшим в неизвестности, из которой его лишь на короткое время вытащила полиция), то я знаю теперь, что не одинок. До Амдура емь я.

Ватсоnianский анархист с презрением отвергает все другие анархизмы-с-дефисом: капиталисто-, синдикалисто-, мутуалисто- и пр. Ватсоnianская анархистка принадлежит только себе. Он находится вне и стоит в оппозиции к анархистской тусовке в любой ее форме. Она считает, что анархисты-панки, перефразируя Селина, «годятся на дрова куда лучше, чем скрипка». (Даже немного лучше, чем электрогитара.) С генетической точки зрения, он отличается присутствием хромосомы Z. Она патологическая правдосказательница, и за это антиавторитаристы смотрят на него с ненавистью и подозрением. Он отвергает любую роль в распределении идеологиче-

ского труда, которую ей предпишет Невидимое Правительство – даже производство «едких листовок» для развлечения пресыщенных анархистов. И в самом деле – ватсонианцы играют роль, они воплощают шизу. Маленького Ганса они считают узником совести; они в восторге от того, что Дора пережила безрадостное лечение насильника-Фрейда и подросла как раз к своему покушению на Ленина. Иногда сигара – всего лишь сигара, но здесь речь вовсе не о сигаре.

На шкале от левого до правого фланга место ватсонианца – вбок по касательной. Она почти что анафема для авторитетов – настолько же, насколько он анафема для антиавторитаристов. Он не индивидуалистский капиталистический правый анархист «типа 1» и не коллективистский социалистический анархист «типа 2», он анархист типа 3, и ей не задурить голову. Она написала «Поваренную книгу перемен анархиста», он обещает по цыпленку в каждом Кропоткине, если Равашоль вам больше нравится с сыром. Он Нечаев души в острых приправах. От дохлой догмы ее тошнит. Ватсонианец – это пушка, которая гуляет сама по себе; он перешел границы. Других анархистов можно обкорнать под размер; он вырвет размер с корнем. Ватсонианцы – аристократия среди эгалитаристов, даосисты-трудоголики. Когда яппи начинают проталкивать рабочие советы, ватсонианцы чувствуют Гниль.

Недалекие умом начнут ворчать, что ватсонианство – всего лишь ошибка переписчика. В самом деле, в решении Верховного суда (меньшего на ватсонианца не хватит) цитируются только показания полицейского, но не Амдура. Педант предположит, что городской, возможно, не изощенный в идеологии, неправильно понял Амдура, который на самом деле сказал: «Я джефферсоновский анархист, и...», – ссылка на Бенджамин Таккера, определившего анархиста как незапуганного джефферсоновского демократа. (Единственные оставшиеся в природе незапуганные анархисты – ватсонианцы.) Не имеет значения. Выражение, столь величественное и богатое ассоциациями, должно отвечать какой-то объективной реальности, с которой я, по крайней мере, с гордостью признаю свою связь. Если бы ватсонианцев не существовало, им следовало бы себя выдумать. Что они и делают, вновь и вновь. Ватсонианец – бегущая цель.

Ватсонианка не должна быть левой, феминисткой, модернисткой, гуманисткой или еще кем-нибудь – только собой. Он верен друзьям, в отличие от других анархистов, и она знает, что его идеи применимы на практике – сколько бы ни пришлось их менять, чистота ее убеждений – в их изменчивости. Поскольку он относится ко всем одинаково, эгалитаристы осуждают ее за элитаризм. Поскольку она всегда последовательна, никто не может предсказать его действия. Она не бросает начатого, но он всегда чувствует, когда время закончить. Она – ватсонианская анархистка. Бу-бу!

Боб Блэк

Боб Блэк – охотник за бабочками

Я видел Боба Блэка только однажды – в баре, украшенном, как спальня хулиганствующего подростка. Бар находился в Такоме, штат Вашингтон, имел форму кофейника и был известен как «ДжаваДжайв». Внутри бар был весь обит фальшивыми леопардовыми шкурами и увешан психоделическими игрушками; из клетки угрюмо взирали две мартышки (за пять лет, прошедшие с той поры, их успели выпустить на волю защитники прав животных); со всех сторон сидели ковбои в татуировках, а музыкальный автомат в углу играл хиты 50-х.

Блэк меня удивил: после его ругательных статей в маргинальной прессе я ожидал встретить кого-то вроде Крысы Финка из текстов Большого Папы Рота – налитые кровью глаза, копыта, обернутый вокруг них розовый хвост.

Кто этот умный, общительный парень в голубой рубашке, синих вельветовых брюках, черных туфлях, с позолоченными часами? Хотя ему было почти сорок, в мягких темных волосах не было заметно седины, крупное лицо казалось приятным, верхние зубы чуть выдавались вперед. Блэк имел большие, ухоженные руки, все время прочищал горло, носил большие толстые очки, был довольно вежлив и часто улыбался.

«Ты стесняешься, поэтому я буду тебя подавлять», – сказал он мне. Но, умеющий необычайно четко излагать свои мысли, Блэк оказался и талантливым слушателем. И хотя говорил в основном он, я мог направлять беседу туда, куда мне было интересно, – так что на самом деле хозяином был я, а ему досталась роль раба.

Говорил он об ОлбаниРидженсе, мощной политической машине 1820-х, возглавлявшейся Мартином Ван Бюренем. Ван Бюрен, объяснил Блэк, был для Джексона тем же, чем Джордж Буш – для Рейгана. Потом подробно расспрашивал о моем увлечении конца 80-х – забытом сюрреалисте Филиппе Супо. Рассказывал о своих разнообразных друзьях вроде Зака Реплики – которому, поведал Блэк довольно громко разнообразным присутствовавшим в баре гопникам, приходилось, когда он ходил отлить, придерживать его *огромный* член, потому что у самого Зака вместо рук были *ласты*! Потом он понизил голос и шепотом стал рассказывать про анархизм.

К концу вечера (10 часов и 7 стаканов пива местной северо-западной пивоварни спустя), при разговоре он брызгал слюной, и у него на подбородке висел плевок. Я был в лучшем состоянии, поскольку пил только томатный сок, но Блэк по-прежнему был энергичен и говорлив. В то время как я, отвозя его в 4 часа утра обратно на юридическую конференцию, с технической точки зрения крепко спал.

Таков Блэк вживую. Каков же Блэк бессмертный, Блэк пишущий, член сообщества неподвластных тлению? Этот Боб Блэк – знаток и любитель словесности, обходящий пивоварню авангардной литературы с дегустацией. То, что ему по вкусу – Джерри Рейт, Эд Лоренс, – имеет определенную крепость; но я думаю, что в конечном счете для Блэка стиль важнее политики, оттенок важнее формы. Разумеется, одно без

другого невозможно, поскольку стиль и есть политика – но сделанное выделение стоит отметить, даже несмотря на упорнейшие возражения самого Блэка.

Две главные линии, прослеживаемые в родословной Блэка – это, с одной стороны, французские ситуационисты, давшие ему определенную теоретическую плотность и недоступность, и, с другой стороны, Амброз Бирс – от которого бешеный собачий укус. Блэк-теоретик насыщен и красноречив, но я нахожу, что именно Эрис в нем богаче всего черным (блэковским) юмором. Этот Боб Блэк, подобно богам Древней Греции, бросавшим молнии, вызывавшим войны и смерть, употребляет свои таланты не по назначению и часто только ради мелочной мести. Он поступает точно, как они – очевидно, без малейшего стыда: бросает на врагов все, что имеет, и наслаждается собственным превосходящим образованием. Иногда – чтобы прикинуться объективным – он маскирует личные нападки, помещая их в исторический и интеллектуальный контекст; тем не менее, как видно из многих статей в этой книге, для Блэка атаки *ad hominem* надо воспринимать как данность. Гений Блэка – в том, что, сжигая напалмом сих меньших авторов, он по ходу дела освещает их мысли. Возможно, это единственная польза для общества, которую он может из них извлечь?

Многие годы я чесал в затылке, пытаюсь понять, во что Боб Блэк верит на самом деле. Несмотря на воинственность, в его сознании иногда мелькает мираж утопии. Мираж этот – те отрывочные моменты, когда он начинает романтизировать Недалудда, майские пляски вокруг шеста или средиземноморскую культуру (притом, что генетически он шотландец). Может быть, его шкалу ценностей можно понять по его научным трудам? Внимательное чтение юридических текстов Блэка может что-нибудь прояснить – или не прояснить. Прояснить, пряча.

Истинный подход Блэка к экономике – тот, которым он без задних мыслей и без вознаграждения пользуется в эфемерном маргинальном мире, – это подсечное земледелие; скорее всего, он самый изошренный из всех, кто до сих пор его практикует. Как Тамерлан, он сжигает дотла целые области знания – полагая, что акт письма ближе к интеллектуальной кровавой бане, чем все, что позволяет современный закон. Он изгнал бесконечное число бумажных тигров анархизма своим яростным смехом, за которым прячется некий таинственный мета-анархизм, называемый ватсоновским. Что за Ватсон? Я пытался выхолмсить это, но так до конца не преуспел. Возможно, мне просто с лихвой хватило кулачных боев в театре теней, этой войны крошечных клик на заброшенных интеллектом полях последних остатков городского неподчинения. Именно здесь Блэк превосходен, здесь он раздает удары и ловит свой кайф. Блэк никогда не отступает и никогда не сосредоточивает силы на одном фронте – напротив, он постоянно расширяет атаку; под удар попадают не только могущественные Фонд субгения, Союз малой прессы и «Переработанный мир», но и какой-нибудь свой брат-маргинал, какая-нибудь легкая жертва вроде старого хиппи или социалистического сынка богатых родителей, издающего свой первый журнал. Я могу терпеть их писания только тогда, когда Блэк их цитирует. Возможно, это их единственный шанс на бессмертие: с вытаращенными глазами и спущенными штанами попасть в извержение вулкана и навеки застыть в куске янтаря.

Почему Блэк набрасывается на младенцев? Писания его так же блестящи и дики и так же точно настроены, как у Оскара Уайльда, – но Уайльд выбирал врагов покрупнее,

врагов, которые могли ответить, таких, как Уистлер, насвистывающий и одной рукой производящий ноктюрны, а другой – убийственные комментарии вроде собранных в «Изящном искусстве заводить врагов». Не исключено, что Блэк превращает тех, кто попался ему под руку, в настоящих художников, медленно-медленно, но мере того, как им приходится защищаться, – но прямых свидетельств этого нет.

Однажды я спросил Блэка по телефону, хотел бы он быть кем-нибудь, кроме писателя. Он ответил, что когда был маленьким, всегда думал, что из него получится превосходный деспот. В отличие от Гитлера, вынужденно, из-за невозможности пробиться, бросившего карьеру художника, чтобы править Германией, Блэк из-за невозможности пробиться оставил мечту стать диктатором и превратился в художника слова.

Какого именно слова? Сатирического. Один раз я спросил, почему он постоянно выбирает в жертвы таких мелких клопов – очевидным образом неспособных сравниться с ним в эрудиции и интеллектуальном кругозоре? Мне казалось, что это совсем неспортивно. Блэк объяснил: «Том Пэйн не ждал, пока появится возможность написать опровержение на Берка; он выдавал на-гора собственную полемику. Георг III и поставленная им чиновная братия тоже не были достойными оппонентами. Мы читаем Локка, но не Фильмера – хотя лучший текст Локка написан как опровержение Фильмера. Свифт, Поуп, Аристофан (кого вообще волнует Клеон?): для сатириков и полемистов в порядке вещей набрасываться на тех, кто менее достоин. Будь они достойны, зачем было бы на них набрасываться? Недавно я прочитал сборник Менкена («Американское общество») и два сборника Дуайта Макдональда. Их врагов так же трудно запомнить, как и моих».

Итак, мы находим в маргинальных периодических изданиях нынешнего *findesiecle* эксцентрика, который бегаёт за бабочками с ружьем на слонов. Но редко-редко он трогательно останавливается, чтобы рассмотреть восхищенно – и порой даже оставить нетронутыми – крылья подружки-крапивницы или расфранченного адмирала.

Доктор Кирби Олсон

Рецензия на Конана

Мы пошли посмотреть «Конана-варвара» на дешевый дневной сеанс; народу было полно. Картина, без сомнения, вдохновит критиков на водопады снисхождения, не то чтобы совсем незаслуженного, но мне она понравилась больше, чем любая рецензия, которую у вас есть шанс прочитать (включая эту). Позвольте мне объяснить всезнайкам несколько моментов.

Рецензент в херстовском журнале называл Конана «героем из комикса», но это описание обманчиво и всего лишь показывает пределы эрудиции автора. Грамотеи никогда не замечают поп-культуру до тех пор, пока она не умерла или не находится при смерти (зачастую ими же и убитая) – неважно, имеем ли мы в виду елизаветинскую драму или панк-рок. То же самое произошло с массовой беллетристической 1920-х и 1930-х годов. С некоторым опозданием профессора литературы все же выделили скромное место в своем мавзолее фантасту и автору романов ужасов Г.П. Лавкрафту – наверное, потому, что его последователи ни гроша не стоят. Но друга Лавкрафта Роберта Е. Говарда они игнорируют, несмотря на безупречную репутацию его предшественников вроде Уильяма Морриса и лорда Дансени. Тем не менее, именно Говард создал целый вид «героической фэнтези» – «меч-и-магия», который многие до сих пор с успехом практикуют (Фриц Лейбер, Майкл Муркок, Джек Вэнс); а сотворенный Говардом Конан – это архетип, который, скорее всего, проживет в массовом сознании не меньше, чем Шерлок Холмс или Франкенштейн.

Как рассказчик Говард, по крайней мере, не хуже Лавкрафта, скорее всего, лучше. Однако его лучшие тексты отличает героический фатализм – совершенно обнаженный, безжалостный и неромантичный.

В отличие от своих слабых продолжателей – Л. Спраг де Кампа и Лин Картер – Говард в «мече-и-магии» делал упор на меч; про магию вспоминать сейчас стыдно, она превратилась в заповедник для невежд вроде Картер и лесбийских доктринеров вроде Элизабет Линн (единственное важное исключение – неподражаемый Джек Вэнс).

Говард одержим насильем – бессмысленным, но настоящим «экстремальным опытом» в мире, лишенном подлинных приключений; и это, несмотря на то, что события происходят до разрушения Атлантиды, на удивление «современно». В целом картина верно передает говардовский оригинал, но до определенной точки. Кровь и кишки вполне удовлетворяют тех, кто (как я) подобные вещи любит. Как сказал КрисЭсти, перед нами «нарезка» во всех смыслах. На самом деле, количество отрезанных конечностей минимально – по сравнению с самими рассказами Говарда или, если на то пошло, с большинством фильмов Пекинпа, самурайских лент или современных ужастиков. (Тем не менее, их хватило на то, чтобы сделать сюжет «непонятным» для полного снобизма, но ах-какого-чувствительного рецензента из «Сан-Франциско бэйгардиан» – сюжет, за которым с легкостью проследит ребенок восьми лет.) Фильм,

в сущности – история о том, как Конан мстит колдуну, заключившему его в рабство и стершему с лица земли его клан. Арнольд Шварценеггер играет Конана не хуже, чем нужно (нужно немного). Джеймс Эрл Джонс с привычным апломбом вновь показывает нам ДартаВейдера – в этот раз под маской извечного врага Конана, тысячелетнего змеечеловека, похожего на Джима Джонса. Не обошлось без фальшивых нот: неуместные коллоквиализмы, драка с демонами, похожих на Гамби, покрашенных аэрозольной краской, несколько сцен, слишком очевидно сворованных из «Семи самураев», «Звездных войн» и даже «Пылающего седла». В этом нет ничего страшного-история рассказана вполне увлекательно. Зачем ждать 20 лет, пока критики позволят вам посмотреть фильм категории В, если можно опередить толпу и посмотреть его прямо сейчас?

Настоящий недостаток картины – о котором вы, однако, никогда не узнаете из обычных рецензий в корпоративных/«альтернативных» медиа – это то, что сама фигура Конана упрощена. До определенной степени он совершенно верно изображен как личность свирепая, но невинная, неприрученная, но и неиспорченная, аморальный тип, но не злодей (в ответ на предложенный амулет против зла он ухмыляется: «Я сам зло»). Но он, несмотря на производимые по ходу дела кражи, дебоши и святотатства, в слишком большой степени – жертва, мстящая за зло. фильм будут сравнивать со «Звездными войнами» – что неверно, потому что Конан воюет исключительно за себя и абсолютно чужд антисептическому высокотехнологичному бюрократическому морализму лент Лукаса, этого разогрева для Третьей мировой войны – а все потому, что в нем недостаточно ясно раскрыт Конан, грубый, но жизнелюбивый авантюрист.

Настоящий Конан – скептик, он ненавидит жрецов, но избегает бессмысленного кощунства, которое может разбудить спящее зло; настоящий Конан возвращает обиду с процентами, но он – не тот одержимый тина Ахава, что показан в фильме. Конан очевидным образом привлекает тех, кого стесняют социальные нормы; тех, кто хотел бы ударить прямо по угнетению и бесчестию, принявшему удобные зримые формы; тех, кто хотел(а) бы, чтобы индивид по-прежнему мог хоть что-нибудь изменить личным действием. Конан иногда груб, но он не лицемерит. Он может украсть твои бриллианты, но не станет пачкать твою душу.

Всяческие активисты и организаторы порицают фантастику за «эскапизм», за бегство от действительности – тем самым вполне оправдывая ответ Дж.Р.Р. Толкиена: «От какой группы людей вы стали бы ожидать наибольшей озабоченности идеей бегства и наибольшей враждебности к ней? От тюремщиков».

Фантазия и свобода – их органическая связь была очевидна для Шарля Фурье, для фантаста-марксиста Уильяма Морриса, для русских анархо-футуристов, которые – предвидя даже говардовскую терминологию! – называли себя «анархо-гиперборейцами». И тем не менее, всякого толка сектанты в 1968 году стояли, разинув рот – когда французы начали эпохальную всеобщую забастовку под лозунгом «Вся власть воображению!».

Мысль о том, что спасения можно достичь через индивидуальный акт волевого насилия, сейчас совершенно затерта (хотя для людей с комплексами она по-прежнему имеет терапевтический эффект).

Поскольку насилие обезличено и подверглось коллективизации, в нем больше нет страсти – кроме как для зрителей. На юге Атлантического океана две команды технических работников по очереди уничтожают друг друга, нажимая кнопки. «Умные» бомбы убивают тупых людей: овцы сражаются за овец. Мэгги Тэтчер изображает Черчиля-в-женском-платье, неудачно пытаясь переплюнуть по популярности «Эвиту». Хунта обнаруживает, что аргентинских диссидентов «исчезнуть» куда проще, чем британских солдат.

Наше время производит лишь суррогатных варваров. Пресыщенные интеллектуалы могут тащиться от бездумной ярости берсерков-викингов; но в этом веке приходится довольствоваться бюрократическим бруталитаризмом, который безлично производят поденщики вроде Александра Хейга, Пол Пота и Дианы Фернстейн.

Псевдоварварские оперетки кончились взвизгом: футуристы стали фашистами, сюрреалисты стали сталинистами, панки превратились в «новую волну» и вернулись в Школу искусств. Почему воображаемое варварство привлекательно? Потому что «цивилизация, приближаясь к концу, становится все отвратительнее» (Фурье), и иллюзорная альтернатива в виде варварства кажется... *чище*.

Где же Конан, когда он нам так нужен?

Упразднение работы

Никто и никогда не должен работать.

Труд – источник чуть ли не всех человеческих несчастий. Назовите почти любое зло – оно происходит из-за труда или из-за того, что наш мир построен вокруг труда. Чтобы перестать страдать, надо перестать работать.

Это не значит, что мы должны перестать что-либо делать. Это значит, что надо создать новый образ жизни, основанный на игре; другими словами, это означает луддитскую революцию. Под «игрой» я понимаю также празднества, творчество, содружество, сообщничество, может быть, даже искусство. Игра – это больше, чем детская игра, как бы достойна ни была последняя. Я призываю к обобщенной радости и по-настоящему свободному безрассудству. Игра – это не пассивный отдых. Без сомнения, даже обычной лени и безделья нам нужно гораздо больше, чем мы сейчас можем себе позволить, каков бы ни был наш доход и профессия. Но как только пройдет навязанное трудом истощение, почти каждый предпочтет действовать. Обломовщина и стахановщина – это две стороны одной и той же фальшивой монеты.

Луддитская жизнь совершенно несовместима с существующей действительностью. Тем хуже для «действительности» – черной дыры, высасывающей последние соки из того немного, что пока еще отличает жизнь от выживания. Забавно – а может, и не очень – что все старые идеологии по сути консервативны, так как верят в труд. Некоторые из них, такие как марксизм и большинство разновидностей анархизма, верят в труд особенно страстно, потому что не верят больше почти ни во что.

Либералы утверждают, что надо устранить дискриминацию при приеме на работу. Я утверждаю, что устранить надо саму работу. Консерваторы поддерживают законы о праве на труд. Следуя Полю Лафаргу, беспутному сыну Карла Маркса, я поддерживаю право на лень. Леваки требуют полной занятости. Как и сюрреалисты, я требую полной *не* занятости – только я не шучу. Троцкисты призывают к перманентной революции, я призываю к перманентному буйству. Но хотя все идеологи утверждают труд – и не только потому, что рассчитывают свалить свою порцию на кого-то еще, – они странным образом стесняются прямо в этом признаться. Они бесконечно твердят о зарплате, рабочих часах, условиях труда, эксплуатации, производительности, рентабельности. Они рады рассуждать о чем угодно, кроме работы как таковой. Эксперты, предположительно думающие за нас, крайне редко делятся с нами своими заключениями по поводу работы – несмотря на то, как это для всех нас важно. Замкнувшись в своем кругу, они бесконечно обсасывают детали. И профсоюзы, и работодатели согласны, что мы обязаны продавать часы нашей жизни за право на выживание, и спорят только из-за цены. Марксисты считают, что начальствовать над нами должны бюрократы. Либертарианцы полагают, что бизнесмены. Феминисткам плевать, как именно называются начальники, лишь бы они были женского пола. Все эти идеологизаторы очевидным образом серьезно расходятся во мнениях по

поводу того, как делить полученное с помощью власти. Столь же очевидным образом никаких возражений против собственно власти у них нет. И все они хотят, чтобы мы работали.

Вы, наверное, пытаетесь понять, шучу я или говорю серьезно. И то, и другое. Быть луддитом не значит быть дебилом. Игра не обязана быть ни к чему не обязывающей, хотя безответственность не значит банальность – очень часто к безответственности следует относиться серьезно. Я хочу, чтобы жизнь стала игрой – но игрой с высокими ставками. Я намерен играть на выигрыш.

Альтернатива труду – не безделье, Лудд – это не квалюйд. При всем моем уважении к радостям тупой прострации, безделье приятнее всего тогда, когда оно перемежает собой развлечения и радости другого рода. И тем более я не хочу рекламировать управляемую, рассчитанную по часам отдушину, известную как досуг. Досуг – это когда не работают во имя работы. Досуг – это время, потраченное на выздоровление от работы и отчаянные, но безнадежные попытки забыть о ней. Как много людей возвращается из отпуска настолько вымотанными, что с радостью бегут на работу, чтобы отдохнуть! Основная разница между работой и досугом – это что на работе за вашу нервозность и отчуждение вам по крайней мере платят.

Я совершенно не хочу жонглировать определениями. Когда я говорю, что призываю к отмене работы, я имею в виду именно то, что говорю, – но я хочу выразить свою мысль, используя термины, очищенные от побочных ассоциаций. Мое минимальное определение работы – *принудительный труд*, иными словами, недобровольная производительная деятельность. Оба элемента важны. Труд, или работа – это производство, вынуждаемое политическими или экономическими средствами, кнутом или пряником. (Пряник – это просто кнут, которым бьют с другой стороны.) При этом не любое производство – работа: работу никогда не выполняют саму для себя. Целью всегда является продукция, некий результат – что-то, что получает работник (или, что чаще, кто-то еще). Именно этим она с необходимостью является, причем определить ее таким образом уже значит ее заклеить. Но в реальности все обычно еще хуже, чем предполагает определение. Имманентная работе динамика доминанции со временем усложняется. В действительно пораженных трудом обществах, таких как любое индустриальное общество, капиталистическое либо «коммунистическое», работа неизбежно приобретает дополнительные свойства, которые делают ее еще более безобразной.

Обычно люди работают по найму, за зарплату, иными словами, продают себя отмеренными ежемесячными порциями – в «коммунистических» странах, где государство есть единственный работодатель, даже больше, чем в капиталистических. Таким образом, 95 процентов работающих американцев работают на кого-то (или на *что-то*). В СССР, в Югославии, на Кубе, в любом другом альтернативном обществе, которое может прийти в голову, эта цифра достигает всех 100 процентов. Только кое-где в «третьем мире» осажденные бастионы крестьянства – Мексика, Индия, Бразилия, Турция – все еще дают временное пристанище заметным количествам сельскохозяйственных работников, которые живут по традиции последних нескольких тысячелетий – а именно: платят налоги (то есть выкуп) государству или оброк паразитам-землевладельцам за то, чтобы их оставили в покое. По нынешним време-

нам даже такой грабеж выглядит привлекательно. Все работающие в промышленности (и в офисах) работают по найму, под слежкой, плодящей сервильность.

Но современная работа предполагает и худшее. Люди не просто работают, у них есть «профессии». Каждый конкретный человек постоянно выполняет конкретные отведенные ему функции, безо всякой альтернативы. Даже если функции эти хоть как-то интересны сами по себе (а все больше профессий не предполагает и этого), монотонное и обязательное повторение в ущерб любой другой деятельности напрочь лишает их потенциальной привлекательности. «Профессиональные обязанности», которые могли бы занять того или иного человека на какое-то разумно ограниченное время, ложатся тяжким бременем на любого, кто должен посвящать им сорок часов в неделю и кого никто не спрашивает, как именно он хотел бы их выполнять, – все это ради выгоды хозяев, которые сами в работе никак не участвуют, и не имея возможности как-то объединить усилия или перераспределить отдельные задания между теми, кто на самом деле их выполняет. Вот он, подлинный мир труда – мир бюрократического идиотизма, навязчивых сексуальных домогательств, дискриминации, тупых начальников, эксплуатирующих и тут же обвиняющих во всех грехах тех самых подчиненных, которые, по любому разумному критерию, должны бы сами принимать все решения. Вот только в реальном мире капитализм жертвует разумным увеличением производительности труда и доходностью производства ради простоты управления.

Унижения и деградацию, которые приносит большинству работников работа, можно объединить понятием «дисциплина». Фуко переусложнил *это* явление, которое само себе чрезвычайно просто. Дисциплина – это все проявления тоталитарного контроля на рабочем месте: постоянное наблюдение, рабочие часы, навязанный темп работы, нормы выработки, наказания за опоздания, и т.д., и т.п. Дисциплина – это то, что роднит фабрику, офис или магазин с тюрьмой, школой и психиатрической больницей. Это нечто ужасное и до того в истории не встречавшееся. Нечто, превосходящее все возможности таких жестоких диктаторов прошлого, как Чингисхан, Нерон и Иван Грозный. При всем их деспотизме у них просто не было таких механизмов контроля над подданными, как у наших современных деспотов. Дисциплина – это отчетливо дьявольский и современный способ правления, новшество, которое при первой возможности надо полностью запретить.

Так же, как и «работу», точная противоположность которой – игра. Игра всегда добровольна. Аксиома: то, что могло бы быть игрой, превращается в работу, если делается по принуждению. Берни де Ковен определял игру как «временное забвение последствий». Если понимать под этим то, что игра ни к чему не ведет, то это определение неприемлемо. Не в том дело, что игра ни к чему не ведет. Говорить так – это принижать понятие игры. Дело в том, что любые результаты даются даром. Понятия игры и дара тесно связаны – это поведенческие и транзакционные проявления одного и того же игрового инстинкта. Их роднит аристократическое презрение к результату. Игрок что-то получает от игры – затем он и играет. Но основное вознаграждение – это сами производимые действия (каковы бы они ни были). Некоторые в общем внимательные исследователи игры, такие как Йохан Хейзинга («*Homo Ludens*»), определяют ее как партию, как розыгрыш по определенным правилам. При всем уважении к эрудиции Хейзинги я решительно отвергаю водимые им

ограничения. Существует множество отличных игр с четкими правилами – шахматы, бейсбол, «монополия», бридж – но понятие игры гораздо шире. Беседа, секс, танцы, путешествия – все они не подчиняются никаким правилам; но если это не игра, что тогда игра? А правила – ну, с ними можно *играть* ничуть не хуже, чем со всем остальным.

Работа превращает свободу в издевательство. Партийная линия гласит, что все мы имеем права и живем при демократии. Другие, несчастные, в отличие от нас несвободны и живут в полицейских государствах. Эти жертвы обстоятельств вынуждены подчиняться приказам, сколь бы абсурдны и произвольны они ни были. Власть держит их под постоянным наблюдением. Государственные чиновники регулируют все, даже самые мельчайшие стороны повседневной жизни. Бюрократы, ими распоряжающиеся, не отвечают ни перед кем, кроме вышестоящих бюрократов, либо публично, либо приватно. В любом случае, несогласие и неподчинение наказуемы. Информаторы регулярно сообщают все властям. Предполагается, что все это ужасно.

И это действительно ужасно – только перед нами всего лишь описание условий на современной работе. Либералы, консерваторы и либертарианцы, оплакивающие ужасы тоталитаризма – лицемеры и обманщики. При любом слегка десталинизированном диктаторском режиме больше свободы, чем на рабочем месте обычного американца. В офисе и на фабрике царит дисциплина и иерархия того же рода, что в тюрьме или в монастыре. На самом деле, как продемонстрировали Фуко и другие, фабрики и тюрьмы появились примерно одновременно, а те, кто ими управляет, сознательно заимствовали друг у друга методы управления. Работник – это раб на полставки. Работодатель говорит вам, когда явиться, до какого времени не уходить и что делать в промежутке. Какую работу выполнять и с какой скоростью. При желании он может довести свою власть до оскорбительных пределов – регулируя, если захочется, вашу одежду и количество разрешенных посещений туалета. За редкими исключениями, он может уволить вас по любой причине или вовсе без таковой. Он напускает на вас стукачей и непосредственных начальников, которые за вами следят, и собирает на вас досье. Возражения называются «неподчинением» (как будто работник – это непослушный ребенок), и за них вас могут не только уволить, но и лишить пособия по безработице. Хочу заметить, что точно так же дома и в школе обращаются с детьми – мотивируя это их «незрелостью». Не буду утверждать, что такой подход обоснован – но что же тогда говорить об их работающих родителях и учителях?

Описанная мной унижительная система доминации подчиняет себе большинство женщин и подавляющее большинство мужчин половину их активного времени – причем десятилетиями, большую часть их жизни. В определенном смысле неправильно называть нашу систему капитализмом, или демократией, или, еще хуже, индустриальным обществом; ее настоящие имена – фабричный фашизм и офисная олигархия. Всякий, кто называет этих людей «свободными», – или дурак, или лжец. Ты – это то, что ты делаешь. Если ты делаешь скучную, тупую, монотонную работу, скорее всего, ты сам станешь скучным, тупым и монотонным. Работа объясняет видимую повсюду ползучую дебилизацию гораздо лучше, чем гипотетические зомбирующие механизмы вроде телевидения или образования. Жизнь всех людей расчерчена по линейке – школа переходит в работу, с ограничителями в виде семьи вначале и дома

для престарелых в конце; люди приучены к иерархии и психологически порабощены. Способность к независимому существованию атрофирована у них настолько, что страх свободы – одна из немногих фобий, имеющих под собой реальную почву. Послушание, намертво вбитое в людей на работе, выплескивается в семьи, которые *они сами* создают, воспроизводя таким образом систему дополнительным путем, а также в политику, культуру и все остальное. Лиши людей на работе жизненной силы – они и во всем остальном будут подчиняться иерархии и чужим мнениям. Им так привычнее.

Мы смотрим на мир труда из такой непосредственной близости, что не видим его таким, каков он на самом деле. Чтобы осознать, как далеко и до какой патологии дошло дело, приходится полагаться на тех, кто смотрит со стороны – из другого времени, из другой культуры. В нашем собственном прошлом было время, когда «рабочая этика» была немыслима. Возможно, Вебер действительно не зря связал ее появление с религией, а именно, с кальвинизмом – который, появившись он сейчас, а не четыре века назад, был бы немедленно и справедливо квалифицирован как тоталитарная секта. В любом случае, чтобы посмотреть на труд в перспективе, достаточно воспользоваться мудростью древних. Они знали, что собой представляет работа на самом деле, и взгляд их, несмотря на трещины, проделанные кальвинизмом, оставался в силе вплоть до индустриализации – и был отмечен и отчасти поддержан даже ее пророками.

Давайте на минуту забудем о том, что работа превращает людей в обездвиженных подчиненных. Сделаем вид, что вопреки всем разумным психологическим и идеологическим теориям она никак не влияет на формирование личности. Допустим, что она не так скучна, унизительна и утомительна, как на самом деле. Даже в этом случае она *все равно* превращает все гуманистические и демократические идеалы в издевательство – просто потому, что отбирает так много нашего времени. Сократ говорил, что занимающиеся ручным трудом – плохие граждане и плохие друзья, потому что у них нет времени выполнять гражданский и дружеский долг. И он был прав. Из-за работы мы, что бы мы ни делали, всегда глядим на часы. Единственная «свобода» в так называемом свободном времени – это свобода работодателя от оплаты. Свободное время в основном посвящено подготовке к работе, поездке на работу, возвращению с работы и приведению себя в чувство после работы. Свободное время – это эвфемизм; он описывает странные свойства труда, который, будучи средством производства, не только доставляет себя с работы и на работу за свой счет, но и сам заботится о собственном ремонте и поддерживает себя в рабочей форме. Ни уголь, ни сталь этого не делают. Ни токарные станки, ни пишущие машинки. Это делают только работники. Неудивительно, что Эдвард Д. Робинсон в одном из своих гангстерских фильмов заявлял: «Работа – это для лохов!».

И Платон, и Ксенофонт приписывают Сократу – и сами очевидным образом разделяют – осознание того, как плохо работа сказывается на гражданских и человеческих качествах работающего. Геродот обозначил презрение к труду как одно из качеств классической Греции в период ее расцвета. В качестве одного только примера из римской истории процитируем Цицерона: «Тот, кто предлагает труд за деньги, продает себя и ставит себя в положение раба». Такая откровенность, сейчас встречается редко – но в современных примитивных обществах, на которые мы привыкли смотреть

сверху вниз, находится достаточно людей, могущих кое в чем просветить западных антропологов. Капауку в Западном Ириане, по сообщению Поспосила, считают необходимым поддерживать равновесие в жизни, а потому работают только через день, посвящая день отдыха «восстановлению здоровья и силы». Наши предки даже в XVIII столетии, пройдя уже так далеко по пути к нашим теперешним несчастьям, по крайней мере, осознавали еще то, что потеряли, – обратную сторону индустриализации. Их религиозное почтение к «святому понеделнику» – тем самым установление defacto пятидневной рабочей недели за 150-200 лет до ее официального признания – было настоящей головной болью для фабрикантов той поры. Очень долго пришлось приучать рабочих к гудку – предшественнику будильника. Вплоть до того, что на одно или два поколения взрослых мужчин пришлось заменить на женщин, приученных подчиняться, и на детей, которых можно было воспитать для фабричной работы. Даже эксплуатируемые крестьяне ancient regime выкраивали из того времени, что шло на помещичью работу, заметную часть для себя. Согласно Лафаргу, четверть календаря французских крестьян занимали воскресенья и праздники. По данным Чаянова, в деревнях царской России – не самом прогрессивном обществе – крестьяне также отдыхали от четверти до одной пятой дней. При всем нашем управлении, нацеленном на производительность, мы явно находимся далеко позади этих отсталых обществ. Эксплуатируемые *мужики* спросили ли бы: зачем мы вообще работаем? И мы должны задать тот же вопрос.

Однако чтобы увидеть всю глубину нашего вырождения, давайте рассмотрим изначальное состояние человечества, то, когда мы бродили как охотники и собиратели, не зная ни собственности, ни правительств. Гоббс предполагал, что жизнь тогда была неприятна, жестока и коротка. Другие считают, что жизнь состояла в безнадежной и непрерывной борьбе за существование, войне с жестокой Природой, и несчастье и смерть поджидали каждого, кому не повезло, или того, кто оказался неспособен к борьбе за существование. На самом деле это не более чем проекция собственного страха – страха остаться без власти правительства в обществе, которое не привыкло без нее обходиться, вроде Англии Гоббса во время Гражданской войны. Соотечественники Гоббса тогда уже встречались с альтернативными способами организации общества, дающими другой образ жизни – особенно в Северной Америке – но это явление оказалось слишком далеко от привычного и понято быть не могло. (Низшие слои общества, по условиям жизни более близкие к индейцам, понимали их лучше и зачастую находили их образ жизни привлекательным. В течение всего XVII века английские фермеры дезертировали и уходили к индейцам или, будучи захвачены в плен, отказывались возвращаться домой. Индейцы же уходили к белым поселенцам не чаще, чем немцы лезут через Берлинскую стену с Запада на Восток.) Как показал анархист Кропоткин в своей книге «Взаимопомощь как фактор эволюции», версия дарвинизма, изложенная Томасом Гексли – «выживание сильнейших», – гораздо лучше описывает экономические условия викторианской Англии, чем естественный отбор. (Кропоткин был ученым-географом и, будучи сослан в Сибирь, невольно получил отличные возможности для полевой работы; он знал, о чем говорил.) Как и большинство политических и социальных теорий, история, рассказываемая Гоббсом и его последователями – не более чем завуалированная автобиография.

Антрополог Маршалл Салинс, исследуя данные о современных охотниках-собираателях, в своей статье «Первое общество изобилия» полностью разоблачил гоббсианский миф. Работают они гораздо меньше, чем мы, а их работу гораздо труднее отличить от того, что мы бы назвали игрой. По заключению Салинса, «охотники и собиратели работают меньше нас, поиск пищи вовсе не есть непрерывный труд, но занятие от раза к разу, досуг наличествует в изобилии, а количество часов сна в дневное время на человека в год превосходит все, что можно найти в любом другом общественном слое». Работали охотники и собиратели в среднем четыре часа в день – если это вообще можно назвать «работой». «Труд» их, в наших терминах, был трудом квалифицированным, задействующим их физические и интеллектуальные способности; по словам Салинса, неквалифицированный труд в любом заметном объеме возможен только в индустриальном обществе. Тем самым этот труд подходил под определение игры, данное Фридрихом Шиллером – как единственного вида деятельности, в которой человек полностью реализует себя, включая обе стороны двойственной своей природы – и мысль, и чувство. В его формулировке «животное работает тогда, когда основным стимулом для работы является недостаток, и оно играет тогда, когда главный стимул – это избыток силы, когда жизнь, бьющая через край, сама побуждает действовать». (Современная – и сомнительным образом поданная как «модель развития» – версия того же самого сформулирована Абрахамом Маслоу в виде противопоставления мотиваций «нехватки» и «роста».) Во всем, что касается производства, игра и свобода занимают одно и то же место. Даже Маркс, попавший (несмотря на все благие намерения) в пантеон продуктивизма, замечал, что «царство свободы начинается только тогда, когда пройдена точка, после которой больше не требуется труд, вынуждаемый необходимостью или внешней полезностью». Он так никогда и не смог заставить себя признать эту счастливую грань тем, чем она на самом деле является, а именно точкой отмены труда – в конце концов, довольно странно выражать интересы рабочих и требовать отмены работы. Но мы-то можем себе это позволить!

Желание вернуться к – или, наоборот, достигнуть – жизни, в которой нет работы, очевидно в любой серьезной книге по социальной или культурной истории доиндустриальной Европы, например, в «Англии в движении» М. Дороти Джордж или «Народной культуре на заре современной Европы» Питера Берка. Важное место занимает также эссе Дэниэла Белла «Работа и недовольство» – насколько я знаю, это первый текст, в котором явно упоминался «бунт против работы» (будь он понят). Это эссе – важная поправка к тому безвольному впечатлению, которое обычно остается от содержащего его тома под названием «Конец идеологии». Ни сторонники, ни критики не заметили, что тезис Белла о «конце идеологии» значит не конец социальной нестабильности, а напротив, начало новой и непознанной ее фазы, не выраженной идеологически и никакой идеологией не сдерживаемой. Это не Белл, а Симор Липсет провозгласил (в то же самое время, в эссе «Человек политический»), что «фундаментальные проблемы индустриальной революции решены», – всего за несколько лет до того, как не то пост-, не то метаиндустриальное недовольство студентов вышвырнуло его из Беркли в относительное (и временное) спокойствие Гарварда.

Как отметил Белл, Адам Смит в «Богатстве наций», несмотря на весь свой энтузиазм по поводу рынка и разделения труда, видел неприглядные стороны работы гораздо лучше (и честнее), чем Айн Ранд, или чикагские экономисты, или другие его современные эпигоны. По наблюдению Смита, «представления большей части людей с необходимостью формируются привычным их окружением. Человек, чья жизнь занята выполнением нескольких простейших действий, ... не получает возможности утруждать свой ум... Как правило, он становится глупым и невежественным настолько, насколько это возможно для человеческого существа». Вот все мои возражения против работы в нескольких честных словах. В 1956 году, в Золотой век эйзенхауэровского кретинизма и американского самодовольства, Белл выявил неорганизованное и неорганизуемое недомогание 70-х и всех последующих лет – описанное в отчете NEW «Работа в Америке», – которое не смогло оседлать ни одно политическое течение, которое нельзя использовать и потому приходится игнорировать. Эта болезнь – неприятие работы. Ни в одном тексте ни одного рыночного экономиста – будь то Милтон Фридман, Мюррей Ротбард или Ричард Познер – она не встречается, потому что, как говорили в «Стар Треке», в их терминах проблема «невычислима».

Приведенные возражения против работы основаны на свободолюбии и могут показаться неубедительными для гуманистов прагматического или даже патерналистского склада – но есть и другие возражения, от которых они отмахнуться не смогут. Заимствуя рекламный лозунг, можно сказать, что «работа опасна для вашего здоровья». На самом деле, работа – это просто массовое убийство и геноцид. Прямо или косвенно, работа рано или поздно убьет почти всех читающих эти строки. Ежегодно на рабочем месте в Америке погибает от 14 тысяч до 25 тысяч человек. Более двух миллионов получают увечья. Причем эти цифры основаны на крайне консервативном определении увечья, связанного с работой – поэтому они не учитывают ежегодные полмиллиона случаев профессиональных заболеваний. Я взял в руки один из учебников по профессиональным заболеваниям – в нем было больше тысячи страниц. И даже это едва задевает верхушку айсберга. Существующая статистика включает в себя только очевидные случаи – такие, как 100 тысяч горняков, страдающих силикозом, из которых каждый год 4 тысячи умирает – процент летальных исходов выше, чем у СПИДа, которому СМИ уделяют куда больше внимания. (Потому что в глубине души все считают, что СПИД поражает только извращенцев, которые могли бы и воздержаться, в то время как добыча угля – это нечто священное и общественно необходимое.) Но статистика не учитывает десятки миллионов людей, для которых работа означает сокращение продолжительности жизни, – а ведь это и есть по определению человекоубийство. Подумайте о врачах, которые дорабатываются до смерти, не дожив до шестидесятилетия. Подумайте о других трудоголиках.

Если даже тебя не убьют и не изувечат непосредственно на работе, это вполне может произойти, когда ты идешь на работу, когда ты возвращаешься с нее, ищешь ее, пытаешься про нее забыть. Подавляющее большинство погибших в автокатастрофах – это либо люди, занятые чем-то из вышеперечисленного, либо их жертвы. К расширенному списку убитых надо добавить пострадавших от промышленного загрязнения окружающей среды, а также от вызванного работой алкоголизма или наркомании. И рак, и сердечно-сосудистые заболевания в большинстве случаев можно доказуемо связать с работой – или косвенно, или прямо.

Итак, работа – это человекоубийство, институционализованное как образ жизни. Как все знают, кампучийцы сошли с ума и устроили аутогеноцид. Но мы-то чем от них отличаемся? У режима Пол Пота хотя бы было видение справедливого, эгалитарного мира – пусть мутное. Мы убиваем людей в (по крайней мере) шестизначных количествах ради того, чтобы продавать выжившим «биг-маки» и «кадиллаки». Наши 40 и 50 тысяч ежегодно погибающих в автокатастрофах – мясо, не мученики. Они погибают ни за что. Вернее, за работу; но погибать за работу – это все равно что погибать ни за что.

И печальный для либералов факт – регулирующее вмешательство государства в этой борьбе не на жизнь, а на смерть совершенно бесполезно. ФАЗБ, Федеральная администрация здравоохранения и безопасности на рабочем месте, была создана, чтобы регулировать основную проблему – безопасность на рабочем месте. Но ФАЗБ была фарсом еще до того, как Рейган придушил ее Верховным судом. По старым (и щедрым на сегодняшний день) картеровским стандартам финансирования, каждый работник мог ожидать посещения от инспектора ФАЗБ один раз в 46 лет.

Государственное управление экономикой проблему тоже не решает. В странах государственного социализма работа, пожалуй, еще опаснее, чем у нас. При строительстве московского метро погибли и получили увечья тысячи русских рабочих. Ходят упорные слухи о замолчанных советских атомных катастрофах, по сравнению с которыми Таймс-Бич и Три-Майл Айленд выглядят как учение по гражданской обороне в начальной школе. С другой стороны, модная сейчас дерегуляция не поможет, а скорее повредит. С точки зрения здоровья и безопасности, работа выглядела хуже всего именно там, где условия максимально приближались к неуправляемому рыночному капитализму. Такие историки, как Юджин Дженовиз, убедительно показали, что – как и утверждали апологеты довоенного рабства – наемные рабочие на фабриках штатов американского Севера и Европы жили хуже, чем рабы на плантациях американского Юга. Похоже, что перестановки и оптимизации бизнесменов и бюрократов собственно ситуацию на производстве не меняют никак. Широкое проведение в жизнь даже тех туманных стандартов, за которыми в теории следит ФАЗБ, скорее всего, намертво остановит всю экономику. По-видимому, надсмотрщики это осознают – по крайней мере, бороться с самыми злостными нарушителями они даже и не пытаются.

Все сказанное до сих вообще не должно вызывать споров. Большинство работающих сыты работой по горло. Проценты прогулов, увольнений, мелкого воровства и саботажа, спонтанных забастовок и прочего надувательства на работе высоки и постоянно растут. Похоже, что существует и движение к осознанному отказу от работы, а не только инстинктивному ее неприятию. И тем не менее, общее мнение – тотальное среди работодателей и их агентов, и очень распространенное среди работников – это что работа сама по себе неизбежна и необходима.

Я с этим не согласен. В настоящее время нам вполне по силам отменить работу и заменить ее, во всех ее полезных аспектах, разнообразной свободной деятельностью нового типа. К отмене работы надо идти с двух сторон – с качественной и с количественной. С одной стороны, количественной, следует решительно сократить объем выполняемой работы. В настоящий момент большая часть работы совершенно бесполезна, если не хуже, и от нее надо просто избавиться. С другой стороны – и в этом,

я думаю, суть проблемы и революционно-новый подход – надо взять ту полезную работу, которая останется, и преобразовать ее в восхитительное разнообразие игр и ремесел – неотличимых от других видов приятного времяпрепровождения, но дающих в конце концов полезный продукт. Уж конечно, это само по себе не сделает их *менее* приятными. После этого можно будет полностью разрушить искусственные барьеры власти и собственности – созидание станет развлечением. И нам не надо будет больше друг друга бояться.

Я не думаю, что таким образом можно сохранить большую часть работы. Но большую часть работы и не следует сохранять. Лишь малая, постоянно уменьшающаяся часть работы служит какой-то полезной цели, чему-то, кроме защиты и воспроизводства системы всеобщего труда с ее политическими и правоохранительными придатками. Двадцать лет назад, по оценке Пола и Персиваля Гудменов, лишь 5 процентов всего затрачиваемого труда хватило бы, чтобы удовлетворить наши минимальные потребности в еде, жилье и одежде. Надо полагать, что если эта цифра точна, то сейчас она была бы еще меньше. Гудмены дали только оценку – но сути это не меняет: прямо или косвенно, большая часть работы имеет цели непроектируемые – торговлю и управление обществом. Прямо так, сходу, можно освободить десятки миллионов продавцов, солдат, менеджеров, копов, брокеров, священников, адвокатов, банкиров, учителей, охранников, квартирных хозяев, рекламных агентов, а также всех, кто работает на них. Это как лавина – каждый раз, когда от работы освобождаешь большого начальника, с ним освобождаются все его подчиненные и лакеи. Экономика *схлопывается*.

40 процентов рабочей силы – это «белые воротнички»; почти всем им достаются самые идиотские и скучные виды работы, какие только можно придумать. Целые области экономики – например, страховой и банковский секторы, а также торговля недвижимостью – целиком состоят из бессмысленного переключивания бумаг. Не случайно то, что «третичный» сектор, сектор служащих, продолжает расти, в то время как «вторичный» сектор (промышленность) находится в застое, а «первичный» (сельское хозяйство) практически исчез. Поскольку работа нужна только тем, чью власть она поддерживает, работников, для поддержания общественного порядка, легко можно перемещать из относительно полезных областей в относительно бесполезные. Что угодно, лишь бы не вообще ничего. Вот почему когда ты раньше заканчиваешь, ты не можешь пойти домой. Им нужно твоё *время*, столько, сколько требуется, чтобы тебя подчинить, – хотя использовать его они по большей части не могут. Как иначе объяснить то, что за последние 50 лет средняя продолжительность рабочей недели уменьшилась лишь на несколько минут?

Далее, переходим к расчленению собственно производительной работы. Отсекаем военную промышленность, атомную энергию, гамбургеры и прочую мусорную еду, интимные дезодоранты для дам – и прежде всего автомобили. Изредка встречающийся «форд-Т» или паровик Стэнли – с этим проблем нет; но аутоэротизм, на котором вспухли такие язвы, как Детройт и Лос-Анджелес, отмечается без обсуждения. Даже не думая об этом, мы тем самым практически решаем проблему энергоресурсов, проблему окружающей среды и все вытекающие из них социальные проблемы.

И наконец, мы должны искоренить самую распространенную профессию, с самым долгим рабочим днем, самой маленькой зарплатой, самыми неприятными порой

обязанностями – *работу домохозяйки*: поддержание очага и уход за детьми. Отменив наемный труд и добившись полной незанятости, мы подрываем основы полового разделения труда. Базовая семья, какой мы ее знаем – это всего лишь неизбежное приложение к тому разделению труда, которого требует современная система работы по найму. Нравится вам это или нет, но последние век или два экономически разумно именно то, что мужчина зарабатывает на хлеб, женщина копается в дерьме, обеспечивая мужчине безопасное убежище в бессердечном мире, а дети строем идут в молодежные концлагеря под названием «школы» – в основном для того, чтобы не мешать маме, оставаясь, тем не менее, под контролем, но заодно и чтобы научиться пунктуальности и послушанию – качествам, необходимым для работника. Если хочешь избавиться от патриархата, прежде всего избавляйся от базовой семьи – потому что неоплачиваемая семейная «теневая работа», как назвал ее Иван Иллич, делает возможной работу оплачиваемую, а та, в свою очередь, заставляет вводить базовую семью. Вторая половина предлагаемого нулевого варианта – отмена «детства» и уничтожение школ. В этой стране учащихся полный день больше, чем работающих на полную ставку. Наши дети нужны нам как учителя, не как ученики. Им есть что добавить в луддитскую революцию просто потому, что они гораздо лучше взрослых умеют играть. Взрослые и дети не одно и то же – но взаимозависимость делает их равными. Барьер между поколениями можно преодолеть только в игре.

Пока что я даже не упоминал о возможности на порядок сократить оставшуюся малую, но необходимую часть работы через автоматизацию и кибернетизацию. Ученые, инженеры и техники, которым больше не нужно будет отвлекаться на военные программы и заранее планировать технику так, чтоб она через два года морально устаревала, получают огромное удовольствие, разрабатывая способы уничтожить усталость, скуку, обезопасить такие виды деятельности, как, например, горные разработки. И уж конечно, они придумают массу других проектов, чтобы себя занять. Может быть, создадут всеобъемлющую всепланетную мультимедийную коммуникационную сеть. Может быть, построят колонии на других планетах. Может быть. Сам я не большой поклонник технических штук. Электрический рай с кнопками – не для меня. Я не хочу, чтобы за меня работали роботы; я все хочу делать сам. Мне кажется, что место в будущем для трудосберегающих технологий есть, но небольшое. Исторические и доисторические прецеденты говорят не в их пользу. Когда технология производства от охоты и собирательства развилась до сельского хозяйства а затем до промышленности, количество работы возросло, а умений и самоопределения стало меньше. Дальнейшая индустриализация лишь подчеркивает то, что Гарри Браверман называл «деградацией труда». Думающие наблюдатели всегда это осознавали. Джон Стюарт Милль писал, что все трудосберегающие изобретения, когда-либо предложенные, так и не сэкономили ни минуты труда. Карл Маркс писал, что «можно написать целую историю изобретений, сделанных начиная с 1830-х годов исключительно для того, чтобы дать капиталу оружие борьбы с пролетариатом». Энтузиасты-технофилы – Сен-Симон, Конт, Ленин, Б.Ф. Скиннер – все были бессовестно авторитарны, все они были технократами. К обещаниям компьютерных мистиков надо подходить с большим скепсисом. В конце концов, *сами* они пашут, как волю – скорее всего, дай им волю, нам тоже житья не будет. Однако любые конкретные предложения –

если человеку от них больше пользы, чем обычно бывает от продуктов хайтека – обязательно надо выслушать.

Но вот чего я действительно хотел бы – это увидеть, как работа превратится в игру. Первый шаг в этом направлении – отбросить понятия «профессии» и «рода занятий». Даже деятельность, не лишенная игрового содержания, напрочь теряет его, когда превращается в профессию, – то, что определенные люди, и только они, обязаны делать в ущерб всему остальному. Не странно ли – современные крестьяне в поте лица по принуждению трудятся на полях, а современные помещики, защищенные кондиционерами, каждые выходные добровольно едут на дачу и копаются в огороде? Установив непрерывные выходные как образ жизни, мы получим такой золотой век дилетантизма, какой и не снился эпохе Возрождения. Профессий больше не будет – только вещи, которые надо сделать, и люди, которые хотят их делать.

Как показал Шарль Фурье, ключ к превращению работы в игру – это перераспределение необходимых видов деятельности так, чтобы максимально использовать то, что разные люди в разное время на самом деле хотят делать. Многие получают возможность заняться тем, что им нравится, – стоит просто устранить те иррациональные искажения, которые введены в соответствующие виды деятельности из-за того, что их превратили в работу. Я, например, с удовольствием некоторое (не очень большое) время занимался бы преподаванием – но мне не нужны студенты, которых заставляют учиться, и я не хочу угождать жалким педантам в погоне за постоянным местом.

Далее – есть вещи, которые люди хотели бы делать иногда, но не слишком долго, и уж точно не все время. Сидеть с детьми несколько часов в день может быть очень здорово, просто потому что с детьми интересно, – но точно не столько времени, сколько это делают родители. Родители, с другой стороны, будут крайне признательны за то время, которое они получают для себя, – хотя они будут волноваться, если забрать детей на слишком долгое время. Именно такие различия между людьми и делают возможной свободный, игровой образ жизни. Тот же принцип применим ко многим другим видам деятельности – в особенности к основным, базисным. Так, многие с удовольствием готовят в свободное время – но мало кому нравится поставлять топливо для идущих на работу человеческих тел.

Наконец – при прочих равных – вещи, которые неприятно делать одному, или в плохих условиях, или по приказу начальства, вполне могут стать хотя бы на какое-то время приятными, если эти обстоятельства изменить. Это, скорее всего, применимо в какой-то мере ко всей работе вообще. Люди тратят огромное количество не имеющей другого выхода сообразительности, чтобы по мере сил превратить в игру самые скучные и тупые виды работы. Деятельность, приятная одному, неприятна другому – но каждый имеет разнообразные интересы и заинтересован в разнообразии. Как говорится, «один раз – все что угодно». Фурье был настоящим мастером в том, как обращать на пользу постцивилизованному обществу самые извращенные и нестандартные вкусы, в том, что он называл «Гармонией». Он полагал, что с Нероном все было бы в порядке, если бы он в молодости насытил свою страсть к кровопролитию, поработав на бойне. Печально известную радость, с которой маленькие дети валяются в грязи можно использовать, организовав их в «маленькие банды» по очистке туалетов и выносу мусора – с медалями для особо отличившихся. Я рекламирую не

эти конкретные примеры, но сам принцип – который, я думаю, составляет важное направление глобального революционного переустройства. Надо помнить, что у нас пет задачи взять все имеющиеся сейчас виды работы и распределить ее по соответствующим людям – из которых некоторые должны были бы быть настоящими извращенцами. Если во всем этом и есть место для технологии, то оно скорее не в том, чтобы автоматизировать работу до полного ее уничтожения, но в том, чтобы открыть новые области для созидания и игры. В некотором смысле, хотелось бы вернуться к ремеслам – тому, что Уильям Моррис полагал полезным и желательным результатом коммунистической революции. Мы отберем искусство у снобов и коллекционеров, уничтожим как специализированную фабрику для развлечения элит и вернем спрятанную в нем красоту и творчество в целостную, единую жизнь – из которой их выкрала работа. Очень полезно помнить, что греческие амфоры, о которых мы пишем оды и которые храним в музеях, в свое время использовались, чтобы возить масло. Мне не кажется, что объекты нашего сегодняшнего быта ждет в будущем такое же обожание – если это будущее вообще будет. Суть в том, что в мире работы просто нет такой вещи, как прогресс; если что-то и есть, то прямо противоположное. Не надо стесняться красть у древних то, что у них было, – от них не убудет, а мы станем богаче.

Переоткрыть обыденную жизнь – это значит вый-то за рамки имеющихся у нас карт. Конечно, и это правда, уже написано гораздо больше спекулятивных утопий, чем полагает средний человек. Кроме Фурье и Морриса – и Маркса, намеками в основном тексте – есть сочинения Кропоткина, синдикалистов Пато и Пуже, старых (Беркман) и новых (Букчин) анархо-коммунистов. «Communitas» братьев Гудменов – образцовое описание того, как формы вытекают из функций (целей); кое-что можно почерпнуть у провозвестников, обычно туманных, альтернативной/ апроприрующей/ промежуточной/ содружественной технологии, таких, как Шумахер и в особенности Иллич – если сначала отключить их туманогенерирующие агрегаты. Ситуационисты – конкретно «Революция обыденной жизни» Ванейгема и «Антология Ситуационистского Интернационала», – излагают свои мысли с восхитительно безжалостной ясностью, пусть даже они так и не смогли толком согласовать схему рабочих советов с отменой работы. Впрочем, лучше такие несоответствия, чем любая из существующих ныне версий левачества – все адепты которого проповедуют труд, ибо, не будь труда, не будет и трудящихся, а кого тогда организовывать левакам?

Итак, в конечном счете аболиционисты – сторонники полной отмены труда – остаются без ориентиров. Никому не под силу предсказать, что выйдет из той творческой бури, которую высвободит уничтожение труда. Все что угодно. Надоевший всем спорный пункт о свободе/необходимости, с его теологическими коннотациями, на практике разрешит сам себя, как только производство «полезного продукта» совместится с потреблением «игровой деятельности».

Жизнь станет игрой – вернее, многими играми одновременно – но ни одна из них не будет безвыигрышной. Образец производящей игры – оптимальный сексуальный контакт. Участники обусловливают удовольствие друг для друга, никто не ведет счет, а выигрывают все. Чем больше даешь, тем больше получаешь. В луддитском мире лучшее в сексе проникнет в поры обыденной жизни. Обобщенная игра приводит к эротизации жизни. Собственно секс при этом становится менее надрывным и

срочным, более игровым. Если играть правильно, все мы получим от жизни больше, чем дали, – но только если играть на выигрыш.

Никто и никогда не должен работать. Пролетарии всех стран ... *расслабьтесь!*

Первобытное изобилие

(послесловие к Салинсу)

Эссе Маршалла Салинса «Первое общество изобилия» написано человеком весьма эрудированным и убеждает в основном двумя детально рассмотренными примерами: описанием общества австралийских аборигенов и описанием бушменов !Кунг. Опыт Австралии, который мы здесь опускаем, изучается по разнообразным письменным источникам XIX и XX веков. Данные о бушменах – или сан, как сами они себя называют – были собраны в поле антропологом Ричардом Боршем Ли в начале 1960-х годов. Впоследствии Ли опубликовал объемную монографию, в которой статистика, использованная Салинсом, дополнена, отчасти пересчитана и более подробно объяснена. В окончательном виде данные с новой силой поддерживают тезис об изобилии – включая несколько сюрпризов.

«Зачем нам сажать, – спрашивает собеседник Ли по имени Щаше, – когда кругом столько монгонго?» И в самом деле, зачем? Сначала Ли изучил в мире сан аналоги того, что в индустриальном обществе обычно классифицируется как «работа»: у нас – наемный труд, у них – охота и собирательство. Это именно то сопоставление, которое использовал Салинс. При нашем стандартном восьмичасовом рабочем дне взрослый сан работает в день от 2,2 до 2,4 часов – заметно меньше условной цифры в 4 часа, которую приводит Салинс. И даже при таком смехотворном рабочем дне сан работают не семь или хотя бы пять дней в неделю, они «проводят в поисках пропитания меньше, чем каждый второй день, и имеют больше свободного времени, чем люди во многих сельскохозяйственных или промышленных обществах». Вместо «во многих» правильнее было бы написать «во всех». Большую часть времени человек из !Кунг навещает друзей и родственников в других лагерях или принимает гостей в своем собственном.

Продолжая исследования, Ли расширил свое определение работы и включил в него «всю деятельность, необходимую непосредственно для приобретения воды, пищи и других материалов из окружающей среды», добавив тем самым к поискам пропитания производство инструментов, их ремонт и работу по дому (в основном приготовление пищи). Вся эта деятельность увеличила дневную нагрузку взрослого сан меньше, чем аналогичная деятельность увеличивает нашу нагрузку – здесь мы отстаем еще больше. В пересчете на день изготовление инструментов и поддержание их в рабочем состоянии занимает у мужчины-сан 64 минуты, а у женщины – 45 минут. «Работа по дому» для сан – это в основном чистка орехов плюс готовка – взрослые обоих полов обычно сами чистят свои орехи монгонго, и это единственный вид деятельности, который у женщин отнимает больше времени, чем у мужчин: 2,2 часа в день для мужчин, 3,2 часа в день для женщин. При этом нет никакого неучтенного детского труда, который искажил бы цифры. Примерно до 15 лет дети сан не заняты практически никаким трудом, а девочки и дальше почти не заняты работой вплоть до

замужества – до которого остается еще несколько лет. Нашим подросткам в наших «Макдональдсах» приходится хуже – к тому же не следует забывать, что именно женщины и дети были рабочей силой для зверского введения индустриализации в Англии и в Америке.

Часто говорят, что в большинстве обществ женщины работают больше мужчин, и скорее всего так оно и есть. Кроме того – и эти явления, возможно, связаны – во всех известных обществах женщинам достается меньше политической власти, на самом же деле, обычно вообще никакой политической власти. Поэтому осмысленный, стратегический феминизм должен вести не к фантазиям о матриархальном перевороте, а к анархизму – и не к воплям о равной плате за равный труд, а к отмене труда. Единственный математически надежный способ уравнивать между полами работу и власть – это избавиться и от того, и от другого. Однако в обществе сан мужчины работают больше, чем женщины. Мужчины посвящают поискам пропитания на треть больше времени, чем женщины, хотя и отвечают только за 40 процентов потребляемых в результате калорий.

Когда был произведен полный подсчет по расширенному определению Ли, оказалось, что средняя рабочая неделя для мужчин равна 44,5 часам, а для женщин – 40,1 часам.

Исходные цифры Ли, которые использовал Салинс, были достаточно неожиданны – но позднейшие данные еще усиливают их, позволяя сравнить не только работу по поискам пропитания, но и работу по дому. У нашего трудового мира есть грязная тайна – работа по найму обеспечивается незаменимой, но неоплачиваемой «теневогой работой». Тяжелый труд домохозяйек – уборка, готовка, покупки, уход за детьми – вся эта безвозмездная тягомотина в буквальном смысле слова не учитывается статистикой занятости. И у нас, и у сан эта работа в основном женская, у нас – в гораздо большей степени, чем у них. Много ли мужей хотя бы два часа в день занимаются домашней работой? Много ли жен проводят за ней, как сан, менее трех часов? Тем более, в обществе Сан не встретить такого печального зрелища, как женщины, работающие по найму *в дополнение к* традиционной Домашней работе – причем за зарплату, до сих пор демонстрирующую половую дискриминацию.

Поздние данные Ли из других областей подтверждают теорию изобилия – например, дневная норма потребляемых калорий, ранее недооцененная, теперь поднята на более чем адекватный уровень. Излишки превращаются в подкожный жир, страхующий от случайных перебоев с пищей, отдаются собакам или поглощаются, чтобы дать людям силы для целебных гипнотических плясок, которые происходят от одного до четырех раз в месяц и продолжаются всю ночь. И несмотря на потрясающее разнообразие животных и растительных видов пищи, многое из того, что другие находят съедобным, сан не едят. Работа приносит так много потребительских товаров, что они как общество могут позволить себе выбор и действительно его позволяют. Описывать такие общества как «экономику выживания» не только фразеологическая глупость – какая экономика *не* занята выживанием? – более того, как замечает Пьер Кластр, это значит вносить оценочное суждение в якобы бесстрастную констатацию факта. Неявно предполагается, что эти общества не смогли стать ничем иным – как будто и подумать нельзя, что кто-то сам предпочтет расслабленную жизнь, свободную от начальства, священников, принцев и нищих. Но у сан есть выбор. В

60-е и 70-е, когда политическая ситуация в Ботсване и соседней Намибии становилась все хуже и хуже, многие сан отказались от собирательства и пошли работать на скотоводов-банту или на южноафриканских фермеров. Все это время сан могли работать по найму – но не хотели.

Как отмечал Иван Иллич, «экономисты понимают в работе примерно столько же, сколько алхимики – в золоте». Предполагая как двойственные неизбежности бесконечность потребностей и конечность (ограниченность) ресурсов, они воздвигают унылую науку на аксиомах, которые любой человек в здравом рассудке сходу отвергнет. Своим образом жизни охотники-собиратели демонстрируют лживость гоббсовского обмана. Ресурсов достаточно, сан потребляют их со вкусом; но, будучи разумными гедонистами, а не свихнувшимися аскетами, они находят удовлетворение в сытости: если у всех все есть, значит, работать больше не нужно. Пример собирателей настолько скандален для экономистов и попавших от них в наркотическую зависимость, что вызывает настоящие пароксизмы проповеднического лицемерия, особенно у либерального экономиста Мюррея Ротбарда и у Давида Рэмзи Стила, автора ругательной рецензии на мою книгу, провозглашавшую отмену работы. Журнал «Свобода» (как он себя называет) выкинул из моего ответа Стилу 90 процентов. Позвольте мне в отместку процитировать его, только цитируя меня: «С юмором, возникшим против воли автора, Стил объясняет, почему охотники-собиратели большую часть времени бездельничают: «Если у вас есть одна туша, которой хватит на неделю или на две, то искать другую – трата времени; что же еще делать, кроме как рассказывать байки?» Мерзавцы *слишком богаты, чтобы работать*. Добрые дикари бесчеловечно лишены возможности накапливать капитал, и что им остается – творить, трепаться, трахаться, танцевать, пировать и петь?»

За ослиным этноцентризмом Стила прячется страх дикости и дикой природы, тоскливый страх перед Зовом Леса, страх перед свободой как она есть.

Собиратели вроде сан или австралийцев – не единственные процветающие первобытные люди с обильным досугом. Земледельцы, практикующие перемещающуюся («подсечную») систему, работают куда меньше, чем мы, современные люди. На Филиппинах занятые ортикультурой хануноо в год тратят от 500 до 1000 часов на то, чтобы пропитать одного взрослого. Если взять верхнюю оценку, в день выходит меньше, чем 2 часа 45 минут. Для большинства индейцев на востоке Северной Америки основным занятием в момент появления европейцев было огородничество, дополненное охотой и собирательством. Столкновение культур рассматривали с миллиона разных позиций – но как столкновение систем организации работы оно получило куда меньше внимания, чем следовало бы.

Индейцы вовсе не жили день ото дня – напротив, они производили излишки: иначе первые поселенцы в Плимуте и Джеймстауне умерли бы с голода. На ранних английских наблюдателей вроде капитана Джона Смита, индейцы вовсе не производили впечатления истощенных людей, постоянно скитающихся в поисках пропитания – скорее их жизнь казалась изобильным раем, почти не требующим работы. Смит полагал, что поселенцы смогут жить, установив трехдневную рабочую неделю, включая рыбную ловлю как «приятный спорт». В 1643 году судьи колонии Массачусетс-Бэй приняли в подчинение двух сахемов из Род-Айленда. «Чтобы разъяснить им, на каких условиях мы считаем возможным их принять, – заметил губернатор Джон

Уинтроп, – индейцам сказали: «В Господень День, в пределах собственно городов, не делать никакой работы, кроме необходимой». Не беспокойтесь, ответили сахемы, «для нас отдыхать в этот день совсем несложно: нам в любой день делать почти нечего, так что в этот день мы ничего делать не будем».

По словам колониста из Роанока, чтобы вырастить зерно, потребляемое одним виргинским индейцем за год, требовалось 24 часа работы. (Разумеется, индейцы ели не только зерно; индейцы Новой Англии имели обильную разнообразную «диету для превосходного здоровья», более питательную и менее монотонную, чем то, что стало стандартом, скажем, в глухих углах американского Юга – или, позднее, в промышленных городских районах.)

«Чем бы еще ни была ранняя Америка, – пишет современный ученый, – она прежде всего была миром работы». Америка индейцев была чем угодно, только не этим, и роанокский колонист – не единственный, кто это заметил. Неудивительно, что и он, и другие, судя по всему, превратились в туземцев, покинув свое самое первое из английских поселений и оставив лишь надпись, вырезанную на дереве: «Ушли к Кроатану». Это были первые дезертиры, оставившие цивилизованный труд ради варварского безделья – но не последние. В течение всего колониального периода сотни евроамериканцев, занятые сельским хозяйством, уходили к индейцам либо, будучи захвачены в плен, отказывались вернуться после наступления мира. Дети и женщины просто неумеренно часто принимали индейский образ жизни, с легкостью отбрасывая свои подчиненные роли в обществе белых; но и взрослые мужчины искали и находили новую жизнь среди язычников. Без сомнения, важнейшим мотивом сделанного выбора была работа. В Джеймстауне Джон Смит установил режим трудовой дисциплины, по суровости приближавшийся к условиям в концлагере. В 1613 году некоторые англичане были «назначены к повешению, некоторые к сожжению, некоторые к колесованию, другие к посадению на кол, а другие к расстрелянию». За какие проступки? Историк повествует, что все они «убежали жить к индейцам, но были снова захвачены в плен».

Антропология работы не показывает никакого уменьшения в количестве или улучшения в качестве работы по мере перехода к более сложным обществам. Тенденция скорее обратная. Для мужчин-индейцев в Виргинии, как и для мужчин сан, охота была скорее «спортом», чем трудом, но их жены, судя по всему, работали больше, чем женщины сан, хотя и меньше, чем их белые современницы. С другой стороны, огородники работают даже меньше, чем сан, но некоторые виды деятельности – например, прополка или расчистка новых площадей – более трудоемки. Водораздел, однако, проходит по точке возникновения цивилизации, с ее правительствами, городами и классовым разделением. Крестьяне работают больше, потому что их заставляют – потому что надо платить оброк, налоги и десятины. В дальнейшем рабочий класс платит все это плюс еще и прибавочную стоимость, причем она идет работодателям, заинтересованным в удлинении работы и в ее интенсификации. По словам «Театра Файрсайн», «каждому – работа потруднее, и побольше ее». Посмотрите, сколько недель в год англичанин в разные века должен был тратить на собственное пропитание: в 1495 году – 10; в 1564 году – 20; в 1684 году – 48; в 1726 году – 52. Чем дальше идет прогресс, тем хуже ситуация с работой.

То же самое было с работой в Америке. Общая тенденция XVIII века – превращение труда из сезонного в непрерывный, как для рабов, так и для свободных. Как обычно, технический прогресс ситуацию ухудшает. Например, моряки – нечто вроде авангарда наступающей эпохи наемного труда. В течение XVIII века размеры кораблей и объем вмещаемых грузов сильно увеличились, а работа стала интенсивнее и тяжелей. В ответ моряки стали прибегать к коллективным действиям вплоть до забастовок (это они придумали само слово, «баста» происходит из морского жаргона), потом бунтов и, в конце концов, пиратства – то есть захвата производственных площадей. Пираты упростили иерархию управления, стали выбирать собственных капитанов, заменили зарплату на кооперативную форму собственности и совместное участие в рисках и, поскольку команда пиратского судна была раз в пять больше, чем у торговца, радикально уменьшили рабочий день. Главный мотив – нежелание работать. Для одного из пиратов, «любовь к Питию и Привольной Жизни» были «Побуждения Сильнее, чем Золото». Адмирал, взявший некоторое количество подозреваемых в пиратстве на службу на своем военном корабле, собирался исправить их, «научить их... работе», от которой они «бежали, став Разбойниками». Губернатор Багамских островов говорил: «Что до работы, они ее смертельно ненавидят», а один из жителей подтверждал: «Работа им не по нраву».

Разумеется, следующий поворот колеса, индустриализация, принес больше работы, причем более монотонной, чем все, что до того рабочие испытывали как класс. В индустриальной армии добровольцев не было. Первоначально фабричные работники в Америке, в большинстве случаев даже не были формально свободными: работали женщины и дети, которых послали на фабрику законные властители, мужья и отцы. Фабрики Севера, как и плантации Юга, стояли за, так сказать, труд слуг. Гораздо позже продолжительность труда на время уменьшилась, поскольку профсоюзные организации и разнообразные реформаторы включили сокращение рабочего дня в свою программу. Тот восьмичасовой рабочий день, которым мы по официальной версии теперь пользуемся – это то, за что анархисты Хеймаркета отдали свои жизни в 1886 году. Однако Новый Курс утвердил как закон сорокачасовую рабочую неделю и тем самым похоронил неделю тридцатичасовую, предлагавшуюся тогдашним сенатором ХьюгоБлэком (позднее членом Верховного суда), после чего профсоюзы выкинули сокращение рабочего дня из списка приоритетов. В последние годы рабочие выкинули из *своего* списка приоритетов профсоюзы. Что посеешь, то и пожнешь.

Несмотря на прогресс технологий, в последние полвека не только не уменьшился рабочий день – увеличилось количество лет, отведенное в нашей жизни на работу. Дело в том, что все больше людей доживает до пенсионного возраста. Что значит, что Система получает от нас больше рабочих лет: средний американец мужского пола работает сейчас на восемь лет больше, чем в 1900 году. В XVIII столетии рабочий, который доживал до этого, заканчивал свои дни в богадельне; в XX-м тот, кто дожил, оказывается в доме для престарелых – одинокий, терзаемый медицинской техникой. Прогресс, однако.

Самое неприятное я приберег напоследок: женский труд. В наше время работающие женщины (а сейчас большинство женщин работает по найму, вне дома) находятся в худших условиях, чем когда бы то ни было. Они по-прежнему, как и в

доиндустриальные времена, выполняют всю домашнюю работу и к тому же работают за зарплату. Массовое за последние двадцать лет вступление женщин в ряды занятых (работали они всегда, но неоплачиваемый труд, как это ни безумно, за работу не считается) сильно увеличило для них общее рабочее время, а тем самым увеличило среднее рабочее время вообще (никто же не думает, что мужчины стали работать *меньше*). Даже если полностью устранить половую дискриминацию – что кажется перспективой весьма отдаленной – уравненные в правах работницы все равно будут нести непропорционально большое бремя «теневого работы», в терминологии Иллича, то есть «неоплачиваемого труда потребителя, который добавляет к стоимости товара столько, сколько нужно, чтобы сделать товар полезным для потребляющей единицы». Законы о гражданских правах не проникают и не могут проникнуть внутрь семьи. Если в истории работы и есть какая-то эволюционная логика, то это логика, по которой на женщин возлагают все более тяжелое трудовое бремя. Феминизм, который не возражает безусловно против работы как таковой, – это не феминизм, а обман.

Мир цивилизации, мир истории – это прежде всего мир работы, объективно и субъективно. Вердикт присяжных о том, что работа субъективно значит для работающих, уже вынесен: она болезненна и ее ненавидят. Объективно она становится все хуже – учитывая все, что теоретически могло бы ее улучшить. С конца XIX века большая часть работы «деквалифицирована», стандартизована, отуплена, разбита на куски, лишена естественных связей, проходит под полицейским контролем и надежна защищена от экспроприации пиратского типа. Чтобы захватить и удержать хотя бы одно рабочее место, рабочим придется захватить их все.

Даже тяжелый труд можно сделать легче, легче переносимым, чем труд на начальство, которым занято большинство из нас. Например, кпелле в Либерии выращивают рис, и это тяжелейший труд, как его не определяй. Но эти «крестьяне эпохи неолита» организуют свой труд способом, о котором организаторы нашего труда не могут и не хотят даже и думать. Любая работа, которую делают кпелле, по определению сопровождается Ли-не, «радостью», или не делается вообще. Работают группами, в сопровождении музыкантов, задающих ритм для мачете и для мотыг. То и дело женщина отбрасывает мотыгу и принимается танцевать, развлекая напарников и расслабляя затекшие от монотонной работы мускулы. После рабочего дня все танцуют и пьют пальмовое вино. Хотя это и не изначальное общество изобилия Салинса, но – в том, что касается работы – это все равно лучше нашего якобы общества изобилия. Антропологи добавляют, что правительство пыталось убедить кпелле перейти от культуры сухого риса к более производительной культуре мокрого риса (с ирригированными рисовыми полями). Они отказываются, но не из врожденного консерватизма – совет тех же специалистов выращивать какао на продажу был принят. Дело в том, что «культивация риса на заливаемых водой полях потребует просто механического труда без жизненно важной добавки песен, танцев и сплетен» – тех игровых элементов, которые из современной работы практически выхолощены.

С концом 80 – началом 90-х рабочий день в Америке, где миллионы не имеют работы, стал длиннее. Современная семья с двумя работающими имеет более низкий уровень жизни, чем семья в 50-е, когда работал только один член семьи. Домашней работы от технологий XX века меньше почти не стало. Исследования времени дают

цифру в 56 часов в неделю домашней работы на 1912 год, 60 – в 1918-м, 61-на фермах в 1921 году. В 1931 году домохозяйки с высшим образованием в больших городах работали 48 часов в неделю, а к 1965 году средняя цифра для всех домохозяек была 54 часа, причем те, кто имел высшее образование, работали на 19 минут в день больше тех, кто имел только начальное. В 1977 году не работающие вне дома домохозяйки тратили 50 часов в неделю, а работающие – 35, *не считая* работы за зарплату; это дает общую цифру в 75 часов, к которой «не приближаются даже потогонные мастерские».

Первобытная производственная жизнь не была ни торопливой, ни грубой – и вовсе не обязательно была короткой. Заметная часть мужчин и женщин сан доживает до шестидесяти лет; демографическая структура у них ближе к Соединенным Штатам, чем к типичной стране «третьего мира». Для нас главная причина смерти – сердечно-сосудистые заболевания, причем важнейший фактор риска для них, стресс, напрямую связан с условиями на работе. Обычные для нас источники стресса среди сан практически неизвестны. (Рак, вторая по значимости причина смерти – разумеется, прямое следствие индустриализации.)

«Условия работы» охотника-собирателя бывают опасными, но даже и здесь работа в цивилизованном обществе не демонстрирует явного превосходства – особенно если вспомнить, что во многих из 2,5 миллионов смертей в автокатастрофах, зарегистрированных в Америке к настоящему времени, так или иначе участвовали один или несколько работающих по найму (полицейские, таксисты, дальнбойщики и т.д.), или занятые теневой работой вроде покупок.

Салинс уже отметил превосходное «качество рабочей жизни» среди первобытных производителей – заимствуя расхожий термин у якобы гуманистов, специализирующихся по «перестройке и обогащению труда». Вдобавок к более короткому рабочему дню, гибкому графику и более надежной «сети социальной безопасности», которую гарантирует общий дележ добычи, работа собирателей приносит больше удовлетворения, чем большинство современных профессий. Мы просыпаемся по будильнику – они спят сколько хотят, ночью и днем. Мы привязаны к нашим зданиям в загрязненных городах – они постоянно перемещаются и дышат свежим воздухом открытой природы. У нас есть начальники – у них товарищи. Наша работа обычно требует одного, в лучшем случае нескольких гиперспециализированных навыков – они заняты всеобъемлюще разнообразной деятельностью, в которой нужны и мозги, и руки, совсем как то, к чему в прошлом призывали авторы великих утопий. Наши «поездки на работу» – убитое время, за которое к тому же не платят; они, только отойдя от стоянки, «читают» ландшафт разными потенциально продуктивными способами. Наши дети подчинены законам об обязательном посещении школы – их отпрыски, безнадзорные, просто играют во взрослые дела до тех пор, пока почти незаметно не начинают всерьез в них участвовать. Они – создатели и хозяева простых, но эффективных инструментов. Мы работаем на наши машины, и вскоре это перестанет быть метафорой. Как говорит эксперт НАСА, «в целом, роботы будут работать на людей, но возможны исключительные случаи, когда некоторые роботы будут выше по иерархическому положению, чем некоторые из людей». Вот он, последний писк моды в законах о равных правах.

Либертарианец как консерватор

Другой, сокращенный вариант этой статьи был прочитан в августе 1984 года в виде доклада на четвертом годовом собрании Общества Эрис в Аспене, Колорадо.

Я обещал обсудить сегодня, грубо говоря, тему «либертарианца как консерватора». Лично для меня это настолько очевидно, что я даже и не знаю, что сказать людям, которые до сих пор каким-то образом связывают либертарианство со свободой. Либертарианец – это просто член Республиканской партии, который курит траву. Будь моя воля, я бы лучше обсудил что-нибудь более спорное, например, «фаллический оргазм как миф». Но поскольку посещение мною этого собрания оплачено почтенным распространителем почти полной библиотеки по гнусным розыгрышам и грязным уловкам, мне неудобно выйти на подиум и начать нести отсебятину. Итак, мне, как велено, действительно придется расчленить здесь священную корову либертарианства – но позволю себе заодно пару раз двинуть левой в правую сторону, от себя лично. И я не собираюсь упрощать себе жизнь. В принципе, достаточно было бы отметить любовь либертарианской партии к рыночному капитализму в духе Трехсторонней комиссии, оставить вас и пойти на все четыре стороны искать бесплатное пиво. Пяти минут хватит, чтобы сказать: всякий, пытающийся тушить пожар огнем, рано или поздно сгорит.

Однако если бы я ограничился этим, кто-нибудь обязательно вскочил бы и сказал, что либертарианская партия предала либертарианское дело – как христиане, которые утверждают, что их поведение примерно за последние 1900 лет не может дискредитировать само христианство. Бывали либертарианцы, которые пытались вырвать либертарианство из когтей либертарианской партии, – точно так же, как некоторые христиане старались отнять христианство у «христианской цивилизации», а некоторые коммунисты (я сам таким был) пытались защитить коммунизм от коммунистических партий и государств. Эти люди (я в том числе) хотели, как лучше, но у них ничего не вышло. Либертарианство *и есть* правомаргинальнаяпартократия – так же, как социализм *и есть* то, что восточноевропейские диссиденты называют «реальным социализмом»: практикующий государственный социализм с очередями, нормами, коррупцией и принуждением. Но это либертарианское пугало, и без того падающее, мне валить не хочется. Ну да, одна из фракций рейгановских правых присвоила себе, подлым образом отделив от других, такие либертарианские лозунги, как дерегуляция и волюнтаризм. Идеологи возмущаются Рейганом, опошлившим их принципы. Ах, бедолаги! Только почему-то те принципы, которые он выбрал для опошления – это именно *их* принципы, а не мои. Меня эти свары не интересуют. У меня есть куда более глубокие причины рассматривать либертарианство как консерватизм.

Цель моей критики – это то, что объединяет всех либертарианцев и между собой, и с их злейшими оппонентами. Либертарианцы служат государству – тем лучше, чем

больше они выступают против него. В глубине души они просто хотят того же. Но нельзя хотеть того, что хочет государство, и не хотеть при этом самого государства, поскольку то, что ему нужно – это и есть условия, про которых оно процветает. Мой (неконструктивный) подход к современному государству – рассматривать его как интегрированную общность. Глупые догматические теории, называющие государство паразитическим наростом на теле общества, не могут объяснить ни его выживание в течение многих веков, ни его ползучее проникновение все дальше в бывшую область свободного рынка, ни то, что подавляющее большинство людей – в том числе очевидные его жертвы – принимает его.

Гораздо более вероятно, что государство и (по крайней мере) *этот* вид общества живут в некотором (пусть гадком) симбиозе; что и государство, и такие учреждения, как рынок и базисная семья, суть различные формы иерархии и управления. Они не всегда существуют в гармонии друг с другом (здесь как раз можно упомянуть их борьбу за территорию), но их объединяет желание передавать все конфликты на рассмотрение элиты или экспертов. С одной стороны, демонизировать авторитарные манеры государства и, с другой стороны, игнорировать абсолютно такие же, хотя и освященные контрактами, рабские отношения в крупных корпорациях, управляющих мировой экономикой – это худший вид фетишизма. Тем не менее (согласно самому крикливому из радикальных либертарианцев, профессору Мюррею Ротбарду), нет ничего нелибертарианского в «организованности, иерархичности, работе по найму, денежных пожертвованиях со стороны миллионеров-либертарианцев и либертарианской партии». Тем самым либертарианство есть просто консерватизм под рационалистским, позитивистским глянцем.

Либертарианцы оказывают такую услугу государству, какую никто, кроме них, оказать не может. Несмотря на все жалобы по поводу незаконных его притязаний, они, в моменты просветления, признают, что в значительной степени государство все же правит по согласию, а не по принуждению – то есть, в современных «либертарианских» терминах, государство не правит вообще: оно всего лишь выполняет явные и неявные пункты заключенного договора. Утверждение, что принуждение происходит по согласию, кажется противоречием – но это противоречие жизни, а не формулировки, и передать его можно только диалектическим рассуждением. Одномерная силлогистика не может описать мир, который сам по себе ее ясностью не наделен. Если ваш язык лишен поэзии и парадоксов, действительность вам не по силам. В этом случае ничего нового в буквальном смысле слова сказать нельзя. Схоластическая логика формулы « $A=A$ », созданная католической церковью и без вопросов унаследованная либертарианцами от поклонников Айн Ранд, так же удушающе консервативна, как новояз из «1984».

В основном государство управляет только потому, что пользуется поддержкой общества. Либертарианцы стыдятся (и по праву) того, что государство поддержано массами – включая, в большинстве случаев их самих.

Либертарианцы только усиливают привычку к покорности, направляя глобальное, или склоняющееся к этому, недовольство на сугубо частные стороны и функции государства – причем те, которые сами они первыми признают несущественными! Тем самым они превращают потенциальных революционеров в ремонтных рабочих. Конструктивная критика – самая тонкая форма лестии. Если бы либертарианцам и

вправду удалось освободить государство от избыточных обязанностей – что ж, это как раз могло бы его спасти. Почтение к власти перестало бы страдать от зрелища всепроникающей чиновной некомпетентности. Чем больше того, что делает государство, тем больше того, что оно делает плохо. Очевидно, что «маленький человек» неприязненно относится к коммунизму именно потому, что ни при каких условиях не хочет, чтобы вся экономика работала так же, как почта. Государство хотело бы видеть своих солдат и полицейских фигурами уважаемыми и почитаемыми; форма, надетая на лесников и мусорщиков, теряет большую часть своего мистического блеска.

Властные идеалы и институты стремятся слиться воедино – и объективно, и субъективно. Вспомним замечание Эдварда Гиббона о вечном союзе Трона и Алтаря. А разочарование в признанных догмах, напротив, имеет свойство распространяться. Если у свободы есть какое-то будущее, оно в этом разочаровании. До тех пор, пока отчуждение не осознает себя, все обожаемое либертарианцами личное оружие будет бессильно против государства.

Можно возразить, что все сказанное относится к меньшинству либертарианцев – к так называемым минархистам – но не к большинству, провозглашающему себя анархистами. Это не так. На мой вкус, анархист правого толка – это минархист, который хотел бы к собственной радости отменить государство методом переименования. Повторю – эта инцестуозная семейная ссора меня не касается. Обе группы требуют частичной или полной приватизации функций государства, но ни одна из них не ставит под вопрос сами эти функции. Они не возражают против всего того, что делает государство, – им просто не нравится, кто это делает. Поэтому меньше всего симпатий к либертарианству испытывают те, кто страдает от государства больше всего. Объект угнетения не разбирается в документах, предъявленных угнетателем. Если ты не хочешь или не можешь заплатить, тебе совершенно все равно, что именно у тебя вымогают – ренту, налог, штраф или реституцию. Если ты хочешь сам распределять свое время, то разница между наемной работой и рабством для тебя – только в их длительности и интенсивности. Идеология, которая превосходит все прочие (кроме, возможно, марксизма) в своем восхищении рабочей этикой, может только свести борьбу против авторитаризма с рельсов – даже если поезда в результате будут отправляться по расписанию.

Второй мой аргумент, связанный с первым: либертарианская фобия по отношению к государству отражает и поддерживает фундаментальное непонимание тех сил, что отвечают в современном мире за социальный контроль. *Если* – и это большое *если*, особенно для буржуазных либертарианцев – вы хотите максимально усилить автономию индивида, то государство – это очевидным образом последнее, что стоит у вас на пути.

Представьте себе, что вы – марсианский антрополог, который изучает Землю, смотрит на нее в самый лучший телескоп с самыми последними видеоприспособлениями. Земные языки вы пока не расшифровали, и потому можете только записывать, что земляне делают, не имея понятия о принятых среди них заблуждениях. Однако в первом приближении вы можете отличить то, что они делают по желанию, от всего остального. Первое ваше важное открытие – это то, что земляне проводят почти все свое время за делами, которыми они заниматься не хотят. Единственное

важное исключение – это несколько постоянно уменьшающихся групп охотников-собирателей: их не беспокоят правительство, церковь и школа, они отводят на поиск и добычу пропитания четыре часа в день, причем их деятельность так сильно напоминает то, чем в индустриальных капиталистических странах заполняют свой досуг привилегированные классы, что вы не можете точно определить, работают эти люди или развлекаются. Однако государство и рынок очень быстро уничтожают эти анклавные, и вы совершенно законно сосредоточиваете свое внимание на почти глобальной системе – которая, несмотря на очевидные внутренние противоречия, проявляющиеся в войнах, тем не менее, всюду, по большому счету, одна и та же. Затем вы замечаете, что маленькие земляне почти целиком зависят от семьи и от школы, иногда также от церкви, а кое-где – от государства. Взрослые тоже часто собираются в семьи, но большую часть времени они проводят на работе, и там же их контролируют сильнее всего. Итак, даже не обсуждая вопрос о том, насколько в узких рамках производительной деятельности каждого все продиктовано мировой экономикой, мы, естественно, заключаем, что источник главного и прямого насилия, испытываемого типичным взрослым человеком, это *не* государство, но работодатель. За неделю ваш непосредственный начальник отдает вам больше прямых приказов, чем полиция – за десять лет.

Если смотреть на мир без предрассудков, но имея перед собой цель максимально увеличить свободу, то главная принуждающая сила – это не государство, а *работа*. Либертарианцы, ничтоже сумняшеся призывающие отменить государство, тем не менее, воспринимают выступления против работы с ужасом. Призыв отменить работу, разумеется – это издевательство над здравым смыслом. Так же, как и призыв отменить государство. Но представим себе, что среди либертарианцев устроили референдум, где надо выбрать либо отмену работу с сохранением государства, либо отмену государства с охранением работы – есть ли какие-нибудь сомнения в его результате?

Либертарианцы поклоняются последовательной логике и количественному анализу. Попытайся они применить эти методы к собственным идеалам, результат был бы шокирующим. В этом и есть цель моего марсианского мысленного эксперимента. Я ни в коем случае не хочу сказать, что государство не так омерзительно, как его изображают либертарианцы. Но все сказанное наводит на мысль, что государство важно не столько прямым своим насилием над, например, солдатами и заключенными, сколько неявной поддержкой работодателей, которые ставят по струнке рабочих, владельцев магазинов, которые арестовывают мелких воришек, и родителей, которые властвуют над детьми. Вот те классы, в которых обучают подчинению. Разумеется, всегда есть горстка странных людей вроде анархо-капиталистов или анархистов-католиков, но они лишь исключение, которое подтверждает правило.

В отличие от побочных тем вроде безработицы, профсоюзов и минимальной заработной платы, тема собственно работы в либертарианской литературе почти никогда не затрагивается. Из того, что есть, большая часть – инвективы против паразитов в духе Айн Ранд, почти неотличимые от ругани советской прессы в адрес диссидентов, и вызубренные в воскресной школе общие места в том духе, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, – и это от жирных котлов, которые этим сыром обожрались. Редкое исключение – рецензия на книгу 1980 года, опубликованная в

журнале «Либертарианское обозрение» профессором Джоном Хосперсом, старейшим государственным деятелем либертарианской партии, вылетевшим из Коллегии выборщиков еще в 1972-м. Да, то была на редкость воодушевляющая апология работы, созданная университетским профессором, который сам в жизни никакой работы не выполнял. Чтобы продемонстрировать, насколько его аргументы консервативны по сути, достаточно показать, что они во всех существенных местах сходятся с марксизмом-ленинизмом.

Хосперс полагал, что можно оправдать наемную работу, фабричную дисциплину и иерархическое управление производством, показав, что все это практикуется как при капитализме, так и при ленинистских режимах. Интересно, а принял ли бы Хосперс аналогичный довод в пользу репрессивных законов о сексе и наркотиках? Как и другие либертарианцы, Хосперс чувствует себя неуверенно – отсюда и неспровоцированные провокации по отношению к красным – потому что когда дело доходит до освящения классового общества и работы, источника его силы, ленинизм отличается от либертарианства не больше, чем кока-кола от пепси-колы. Только встав на твердую почву фабричного фашизма и офисной олигархии, ленинисты и либертарианцы осмеливаются спорить о разделяющих их тривиальных вопросах. Добавьте сюда консерваторов из мейнстрима, которые думают точно так же, – вот вам поистине Трехсторонняя идеология работы, каждому – по личному вкусу.

Хосперс, которому самому этого делать не приходится, не видит ничего оскорбительного в том, чтобы выполнять приказы начальства – поскольку «как еще можно организовать крупную фабрику»? Другими словами, «стремиться уничтожить власть в крупной промышленности – это все равно, что стремиться уничтожить саму промышленность». Опять Хосперс? Да нет, Фридрих Энгельс. И Маркс с этим согласен: «Попробуйте заставить большой завод в Барселоне работать без начальства-то есть без управления!» (Как раз это и сделали каталонские рабочие в 1936 году, пока их лидеры анархо-синдикалисты тянули время и торговались с правительством.) «Кто-то, - говорит Хосперс, – должен принимать решения, а, – вот оно! – кто-то другой должен их выполнять». Почему? Ленин, его предшественник, точно так же принимал «индивидуальную диктатуру», чтобы обеспечить «строгое и абсолютное единство воли». «Но как можно обеспечить строгое единство воли? Только если тысячи подчинят свою волю одному». Чтобы промышленное производство функционировало, необходимы «железная дисциплина в работе и безусловное подчинение воле одного человека, советского лидера, во время работы». *Arbeitsmachtfrei!*

Одни отдают приказы, другие выполняют их-вот сущность рабства. Конечно, как коварно отмечает Хосперс, «можно, по крайней мере, сменить работу», но вот вообще избежать работы нельзя – точно так же, как при государственнической системе можно сменить подданство, но нельзя избежать подчинения тому или другому национальному государству. А ведь свобода – это нечто большее, чем право менять хозяев.

Хосперс и другие либертарианцы ошибочно полагают, следуя манчестерскому промышленнику Энгельсу, что технология требует разделения труда «независимо от социальной организации». На самом деле фабрика *и есть* инструмент социального управления, самое эффективное из всех когда-либо придуманных средств, закрепляющих социальную пропасть между немногими, «принимающими решения», и

большинством, «выполняющим их». Промышленные технологии – это в гораздо большей степени не причина, но результат тоталитаризма на рабочем месте. Поэтому бунт против работы – выраженный в прогулах, вредительстве, воровстве, текучести кадров, приписках и необъявленных забастовках – несет в себе куда больше надежды на освобождение, чем любые махинации |«либертарианских» пропагандистов и политиканов.

По большей части работа служит хищническим целям коммерции и насилия, и ее можно просто полностью отменить. То, что осталось, можно истребить автоматизацией и/или переделать – с помощью настоящих экспертов, а именно самих рабочих – в творческие, игровые виды деятельности, разнообразие и внутренняя радость которых сделают равно устаревшими все посторонние стимулы – и капиталистический пряник, и коммунистический кнут. Во время мета-промышленной революции, которая, можно надеяться, не за горами, коммунисты-либертарианцы, бунтующие против работы, окончательно сведут счеты и с коммунистами, и с либертарианцами, работающими против бунта. Вот тогда-то и дойдет до настоящего дела!

Даже если все, что я сказал про работу – например, возможность ее отменить, – покажется вам визионерской бессмыслицей, вывод о ее внутренней тенденции мешать свободе все равно сохраняет силу. Ваша жизнь, ваше время – это единственный товар, который можно продать, но нельзя купить. Мюррей Ротбард полагает, что равенство противно природе – однако день Ротбарда делится на те же 24 часа, что и у всех остальных. Если большую часть своей активной жизни вы выполняете приказы и целуете задницу начальника, если вы привыкаете к иерархии, вы становитесь пассивно-агрессивным, садомазохистским, сервильным и тупым существом, и этот груз останется с вами на всю оставшуюся жизнь. Не умея жить свободно, вы удовлетворяетесь идеологическим представлением свободы – например, либертарианством. К ценностям нельзя подходить, как к работницам – нанимать и увольнять их по собственному усмотрению, фиксировать место каждой в навязанном разделении труда. Воздух свободы и вкус наслаждения нельзя разделить на упаковочные единицы.

Либертарианцы ноют, что государство есть паразит, нарост на обществе. Они считают его опухолью, чем-то, что можно вырезать, и пациент будет, как был, только лучше. Их обманывают их собственные метафоры. Государство, как и рынок – это не сущность, но деятельность. Единственный способ отменить государство – это изменить образ жизни, в котором оно является составной частью. Образ жизни – если это можно назвать жизнью – нацеленный на работу и включающий в себя бюрократию, морализм, систему школ, деньги и многое другое. Либертарианцы – это консерваторы, потому что они явным образом хотят большую часть этого безобразия сохранить, и неявно, сами того не желая, обеспечивают сохранность оставшейся части. Но они плохие консерваторы – потому что забыли о той действительно существующей взаимосвязи идеологий и институций, которая была изначальным, образующим наблюдением консерваторов исторических. Совершенно потеряв связь с реальными течениями современного сопротивления, они отменяют *практическую* оппозицию системе как «нигилизм», «луддизм» и другие громкие слова, которых они не понимают. Одного лишь взгляда на мир достаточно, чтобы понять, что их утопический капитализм по отношению к государству просто *неконкурентоспособен*.

Имея таких врагов, как либертарианцы, государство уже не испытывает потребности в друзьях.

Анархия (притча)

Анархистку я встретил в уличном кафе на Гарвардской площади. Оба мы притворялись, что делаем записи в дневнике. Как водится, заговорили о книгах. Я упомянул вскользь что-то политическое, потому что гарвардские девицы любят политику. «Я оставила левых далеко позади, – сказала она, – я анархистка», – дерзко подняв голову на последней фразе. Из-под берета рассыпались ярко-рыжие волосы. Интересно, подумал я, а где у анархистки пружинка? Еще интереснее: а у нее везде волосы одного цвета?

Я чуть-чуть придвинул свой стул и сказал: «Я мало что знаю про анархизм». Пока я пялился на колебания ее пухлых розовых губ, она поведала мне о «взаимопомощи» и «свободе объединений». Когда она упомянула «прямое действие», я очнулся и спросил, где про все это написано. Колено мое касалось ее бедра, едва-едва, как легкое движение языком. «Многие классические труды по анархизму сейчас уже не печатают, – сказала она, – но у меня есть довольно хорошая библиотека». «Покажешь?» – спросил я.

Сказано – сделано. Квартира была крошечная, практически четыре стены книг от пола до потолка вокруг смятой кровати. Она сварила мне и себе по чашечке никарагуанского кофе, объяснив, что не поддерживает государственно-капиталистический сандинистский режим, но пьет никарагуанский кофе в знак протеста против американского империализма. «Понятно», – сказал я, рассеянно заглядывая в ванную. Сиденье на унитазе было поднято. «Давай покажу книги, которые больше всего на меня повлияли», – предложила она, после чего взяла меня за руку и подвела к стене.

Я посмотрел на верхнюю полку и заметил французскую фамилию, которую она за полчаса до того мельком упомянула. «Например, Прудон?» – спросил я. Она залезла на стул и потянулась за книгой. Мышцы ее напряглись, мешковатые джинсы стали обтягивающими, а пышная задница оказалась прямо перед моим лицом. «Эй, осторожно там наверху», – сказал я, крепко хватая ее за ягодицы. И сжал их обеими руками – сперва мягко, потом сильней. Она вздохнула и издала чуть слышный стон. В этот момент стул и правда стал раскачиваться. «Лучше слезай», – сказал я.

Когда она слезла, я не позволил ей повернуться лицом. Одной рукой я обхватил ее грудь и крепко прижал сосок. Другой (как многие левши, я одинаково хорошо пользуюсь обеими руками) я расстегнул ей джинсы и опустил их, достаточно низко для задуманного. Тщательно изучил ее попку, периодически заглядывая и в пизду (ничего не имею против некоторого количества взаимопомощи). К этому времени она уже не замечала, что ее больше не держат, и я смог работать двумя руками – как бедные угнетенные труженики всех времен.

Мягко, но неуклонно подталкивая, я заставил ее склониться над стулом. Намочил своей слюной ее попку, которая, полагаю, в этом нуждалась. На каждое касание языка она отзывалась все более громким стоном. Потом я сбросил джинсы и приступил к

прямому действию, в нетерпении плюнув на смазку. Она закричала, было немного крови, но вскоре ее всхлипывания утихли и перешли в требовательный стон. Мы свободно объединились.

Потом мы покурили травы и обменялись телефонами. Она была слегка растеряна, но я, так сказать, утешил ее рассказами про Джона Генри Маккея, Оскара Уайльда и Джима Моррисона – Любителя Задов. И мы назначили время для следующего сеанса. Потому что, видите ли, я выполнил домашнее задание на отлично: анархистка, марксистка, феминистка – выбирай что хочешь; я знаю все правильные слова. На Гарвардской площади иначе нельзя.

И только одна вещь по-прежнему беспокоит меня. А у нее *и правда* волосы везде одного цвета?

Анархизм и другие препятствия для анархии

Сейчас нет нужды выдумывать новые определения анархизма – трудно улучшить те, что давным-давно ввели разные выдающиеся мертвые иностранцы. Не стоит тратить время и на всем известные анархизмы-с-дефисом – коммуно-, индивидо- и так далее; все это описано в книжках. Гораздо интереснее понять, почему мы до сих пор не ближе к анархии, чем в свое время были Годвин, Прудон, Гольдман или Кропоткин. Препятствий полно, но важнее всего выявить те, которые создают сами анархисты, – может быть, именно эти препятствия, буде таковые найдутся, возможно устранить. Возможно, но маловероятно.

Вот моя точка зрения, взвешенная и обдуманная за годы изучения анархистской среды, а порой и душе раздирающего участия в ней: сами *анархисты* есть основная – подозреваю, что достаточная – причина то го, что анархия остается лозунгом без малейшей надежды на реализацию. Большинство анархистов честно говоря, неспособно жить в автономном сотрудничестве. Многие из них неумны. Они проводят время за перечитыванием собственных классиков и литературы для узкого круга, совершенно игнорируя огромный мир, в котором мы живем. По сути своей робкие, они дружат с другими такими же, неявно принимая за аксиому, что никто не начнет оценивать ничьи мнения и поступки с точки зрения как угодно понятого практического здравого смысла, никто своими достижениями слишком сильно не выделится из общей массы, но в первую очередь – никто не станет подвергать сомнению любимые формулы анархистской идеологии.

Анархизм как среда – это не столько вызов установленному порядку, сколько крайне специфический способ к этому порядку приспособиться. Это образ жизни или нарост на ней – со своей особенной смесью поощрений и наказаний. Бедность – это обязательное условие, тем самым заранее снят вопрос о том, мог бы (если забыть об идеологии) тот или иной конкретный анархист стать чем-то, кроме неудачника. История анархизма – это не имеющая аналогов история поражений и жертв; тем не менее, анархисты чтят своих убиенных предшественников с болезненным усердием, заставляющим подозревать, что для них, как и для всех остальных, хороший анархист – мертвый анархист. Революция – та, что потерпела поражение, – славное дело, но место ей в памфлетах и книгах. В этом столетии – особенно это проявилось в Испании в 1936-м и во Франции в 1968-м – революционный подъем застигал официальных, организованных анархистов врасплох и поначалу не встречал поддержки, а то и хуже. Объяснение лежит на поверхности. Не то чтобы все это идеологи лицемерили (хотя некоторые лицемерили). Скорее они просто выработали заведенный распорядок дня воинствующего анархиста, в котором подсознательно и собирались жить неопределенно долго – ведь революцию прямо здесь и сейчас *на самом-то деле*

и представить себе нельзя. Когда события выходили за рамки риторики, они в страхе отмахивались от них.

Другими словами, если выбирать между анархизмом и анархией, большинство анархистов выберут идеологию и субкультуру анархизма – лишь бы не шагнуть в опасное неведомое, в мир безвластия и свободы. Но из-за того, что анархисты – практически единственные, кто критикует государство как таковое, – эти свободолюбивые обыватели неизбежно займут выдающееся или хотя бы видное место в любом настоящем антигосударственном восстании. Привыкшие следовать, они окажутся во главе – во главе революции, которая угрожает их привычному статусу не меньше, чем статусу собственников или политиков. Сознательно или бессознательно, анархисты будут саботировать революцию – которая без них могла бы устранить государство, – даже не заметив при этом отличной возможности еще раз обсудить старые разногласия между Бакуниным и Марксом.

По правде говоря, анархисты, называющие себя таковыми, абсолютно ничего не сделали, чтобы бросить вызов государству, – если иметь в виду не многословные, никем не читанные, наполненные жаргоном писания, но убедительный пример того, как по-новому строить отношения между людьми. Тем, как они управляют анархистской машиной, анархисты наилучшим образом опровергают собственные теории. Верно, конечно, что в Северной Америке по крайней мере тяжеленные профсоюзные «федерации» раздавлены скукой и склоками, и туда им и дорога. Однако оставшаяся неформальная социальная структура анархизма все равно насквозь пронизана иерархией. Анархисты покорно подчиняются тому, что Бакунин называл «невидимым правительством», – в данном случае редакторам (фактическим, даже если не имеющим должности) горстки более-менее крупных и долгоживущих анархистских журналов.

Журналы эти, несмотря на, казалось бы, глубокие идеологические различия, все занимают одну и ту же позицию по отношению к читателям – «папа всегда прав» – и все следуют джентльменскому соглашению не атаковать друг друга, не выпячивать внутренние противоречия и вообще не делать ничего, что подвергает опасности их классовую гегемонию над рядовыми анархистами. Как ни странно, на страницах «Пятого сословия» или «KickItOver» гораздо проще критиковать их самих, чем, скажем, «Переработанный мир». Любая организация имеет больше общего с любой другой организацией, чем с неорганизованной массой. Анархистская критика государства, если бы они удосужились это осознать, есть не более чем частный случай критики организации. И на каком-то уровне это чувствуют даже организации анархистов.

Анти-анархисты могут заключить из этого, что если уж иерархия и принуждение неизбежны, пусть они лучше будут открыты и явно обозначены. В отличие от этих деятелей (например, правых либертарианцев – так называемых минархистов), я упрямо настаиваю на противодействии государству. Но вовсе не потому, что, как часто и бездумно утверждают анархисты, государство «не нужно». Такое утверждение обычные люди считают бредом и правильно делают. В индустриальном классовом обществе, в котором мы живем, государство очевидным образом *нужно*. Дело же в том, что условия, при которых оно действительно нужно, государство создало само, отняв власть у частных лиц и добровольных, основанных на личных контактах ассоциаций. На более глубоком уровне основы государства (работа, мораль, промышленные

технологии, иерархические организации) не только *не* нужны, но и прямо вредны для удовлетворения подлинных потребностей и желаний. К сожалению, анархизм в большинстве его разновидностей принимает все эти основы и останавливается только перед логическим выводом – государством.

Если бы анархистов не было, государству следовало бы их придумать. Как мы знаем, несколько раз в истории оно именно это и сделало. Нам нужны анархисты, не обремененные анархизмом. Тогда, и только тогда, мы сможем серьезно начать разжигать анархию.

Нельзя взорвать социальную институцию... но как интересно попробовать

В 1979 году четыре австралийские организации анархистов и «либертарианских социалистов» опубликовали трактат под названием «Нельзя взорвать социальную институцию», с претенциозным подзаголовком «Аргументы анархистов против терроризма» – как будто ни у кого больше нет аргументов против терроризма и как будто нет никаких аргументов за. Памфлет перепечатали несколько североамериканских анархо-пролетарских групп; по умолчанию он приобрел некоторую известность как убедительная критика терроризма и стал частью современного анархистского канона.

На самом деле памфлет – бредовый: несвязный, неточный, к тому же почти государственный. Единственный смысл его существования – попытка приукрасить публичное лицо анархизма. Вопрос о насилии в нем запутан, и место ему – если там еще осталось место – в мусорной корзине истории, причем не с точки зрения протеррористической, но всего лишь, в данном случае, анти-антитеррористической.

Чем сия диатриба замечательна, так это тем, как по мере развития сама себя опровергает. Начав со ссылки на какие-то никому не известные акции хорватских фашистов в Австралии, авторы объясняют, что государство использует терроризм правых, чтобы оправдать подавление левых. Более того, демократические режимы «могут даже провоцировать терроризм и участвовать в заговорах, чтобы оправдать свои действия». В качестве «архетипического примера готовности полиции подставлять несогласных и фабриковать против них дела о политическом насилии» приводится «знаменитое американское дело Сакко и Ванцетти в 1920-х годах». Очевидно, дело недостаточно знаменито, поскольку авторы не заметили, что сфабрикованное для этой парочки обвинение состояло не в политическом насилии, но – как ниже сообщают сами авторы! – в банальном «грабеже и убийстве». Более точным примером было бы дело Хеймаркета – но возможно, оно недостаточно знаменито. Единственный очевидный урок, который из всего этого можно извлечь, – анархистам все равно достанется, хоть так, хоть этак.

Так же, как и анархисты Хеймаркета (кроме Луиса Линга), Сакко и Ванцетти не «брали в руки оружие» – напротив, они, как и предлагают австралийцы, «погрузились в трудную длительную работу по распространению знаний и понимания этого общества». Если учесть, чем все кончилось, – почему было не бросить парочку бомб? (Как раз то, что Линг собирался сделать перед арестом... из чего ясно, что нечто вроде Хеймаркета все равно бы произошло.)

Вот как выглядят анархисты, говорящие языком государства:

«По всему миру политики и полицейские применяют слово «терроризм» не по адресу – для того, чтобы вызвать враждебность к любой попытке сопротивляться или подготовиться к вооруженной защите против их собственных террористических действий. Отличительная черта терроризма – систематическое использование насилия в политических целях».

Слово, примененное не по адресу политиками и полицией, надо полагать, применяется по адресу предложением ниже, где его берут в свои руки анархисты. Согласно этому определению, любая насильственная революция есть терроризм – даже когда в ней участвует большинство населения. На самом деле коллективная самооборона, которую авторы в другом месте упоминают одобрительно, есть систематическое использование насилия в политических (в том числе) Целях – следовательно, терроризм. Чтобы добавить бессмыслицы, это определение терроризма не покрывает те случаи, когда отдельные индивиды действуют не систематически и в одиночку – как Леон Шолгош, убивший президента Маккинли, или Александр Беркман, ранивший промышленника Фрика – случаи, которые все – и сторонники, и противники – всегда считали актами терроризма. Наши австралийцы просто не умеют говорить по-английски – и это не спишешь на разницу диалектов.

Приняв за основу исследования бессмысленное и уничижительное определение его предмета, авторы затем еще и усиливают идиотизм. «Так же, как правители» – и, как мы увидим, некоторые анархисты – «предпочитают использовать слово «террорист», сами террористы предпочитают описательный термин «городской партизан», дающий им незаслуженный романтический ореол». Тем самым для авторов городские партизаны суть террористы (в точности, как утверждают «правители»), а сельские партизаны – нет: «...в особенности в сельской местности эти люди могут прибегать к нетеррористическим вооруженным действиям. Обычно при этом происходят вооруженные стычки с полицией или армией».

Итак, вооруженное нападение на полицейский участок в деревне – партизанская война, а вооруженное нападение на полицейский участок в городе – терроризм? Неужели наши кухонные анархисты думают, что полицейским есть дело до того, насколько населена местность, в которой их убивают? И что большинству населения есть до этого дело? Кто здесь романтик? Граждане романтизируют крестьян, поскольку никогда их не видели, и очерняют городских интеллигентов – таких, как они сами, – потому что слишком хорошо знают самих себя.

То, что, по мнению наших тактиков, могут делать сельские партизаны, – это не (все) то, что они на самом деле делают (те из них, кто имеет успех). База Вьетконга находилась в сельской местности, но убийства, взрывы и экспроприации партизаны производили и в городах. Партизанская война по определению эластична и использует все возможности: ничто не запрещено, все разрешено, все идет в ход. То, что сельские партизаны могут «прибегать к нетеррористическим вооруженным действиям» (и действительно к ним прибегают), не значит, что они не могут прибегнуть и к террористическим действиям – вроде деревень, которые вырезали «красные кхмеры» и «Сендеро Луминосо».

Но оставим лексикографию: что в действительности вызвало обуявший этих анархистов зуд? На самом деле, памфлет не имеет почти никакого отношения к собственно терроризму. Напротив, этот текст – критика городской вооруженной борьбы

разных, в основном националистических и/или марксистско-ленинистских, групп в 60-е и 70-е: ИРА, ООП, РАФ, СЛА и т.д. Разумеется, наши левые (по собственной идентификации) не хотят, чтобы их путали с этими террористами, – но ведь различие в целях должно бы обозначить разницу гораздо лучше, чем зачастую совпадающие средства?

Большинство марксистских групп, как они признают, отвергают терроризм во имя партийного строительства и пропаганды – более или менее того же, к чему призывают австралийцы. У «Красных бригад» не было врага злее Итальянской коммунистической партии. Но, с другой стороны, может быть, австралийцы преувеличивают разницу в методах (практически игнорируя долгую историю анархистского терроризма), потому что у них не так много программных отличий от этих марксистов? Они все время отпускают загадочные замечания вроде «демократии можно добиться, только создав движение большинства». Как обычно, это обобщение неверно – в Японию или Западную Германию демократия пришла не так – но бог с ним: почему анархистов вообще волнуют условия, в которых возможна демократия как форма правления? Или это тайком вставили в текст «либертарианские социалисты»?

«Терроризм не противоречит таким идеям», как авторитаризм и вангардизм, говорят нам авторы. Ну да, учитывая, что сам терроризм – не идея, а вид деятельности: есть много идей, которым он не противоречит. Вегетарианству терроризм тоже не противоречит. Гитлер был вегетарианец. Так же, как анархисты из шайки Бонно, грабившие банки. Ну и что? Другими словами, даже если бы авторы привели убедительные аргументы анархистов против терроризма (чего они не сделали), аргументы не работали бы против терроризма самих анархистов – а значит, они не вправе провозглашать анархо-террористам анафему и присваивать термин исключительно себе. А это, кажется, и было целью всего их убогого упражнения.

Анархистский терроризм авторы описывают неполно, поверхностно и с долей вранья. Если причина, по которой терроризм определен как систематическое политическое насилие – так с помощью словесной уловки можно избавиться от большого количества смущающих убийств, взрывов и ограблений, – то авторы умнее, чем кажутся. Но тогда они просто подменяют одну тему (политическое насилие) другой, искусственной и с практической точки зрения никому не интересной. Они разговаривают сами с собой и не вправе требовать внимания ни от кого. Скорее же всего, они просто недостаточно хорошо умеют выразить свои мысли.

Отмечу очевидное: анархисты занимались терроризмом и в «австралийском» смысле – коллективным политически мотивированным межличностным насилием – гораздо дольше ста лет. Частью неудачных анархистских восстаний в итальянских городах в 1870-х годах были перестрелки с карабинерами. Вскоре подобные местные бунты стали постоянной чертой крестьянского анархизма в Испании. К 1890-м годам анархисты убивали глав государств по всему западному миру – а раз их не посылали на дело никакие авторитетные анархистские организации, то не уничтожает ли это всякую предполагаемую связь между «терроризмом» и «вангардизмом»?

Авторы упоминают ограбления банков, в которых принимал участие Сталин, – но не те, что осуществляли Дуррути или шайка Бонно. Ближе к нашим дням в ограблении банка на суде признался Альфредо Бонанно, известный итальянский анархист. Авторы игнорируют нападение Беркмана на Фрика, попытку Доры Каплан убить

Ленина и попытку Стюарта Кристи убить Франко. Некоторые из этих попыток, по крайней мере последняя, стали результатом заговора, а следовательно, подходят под определение «коллективные». Отождествлять анархистов с бомбометателями совершенно несправедливо. Но вычеркивать из истории тех анархистов, которые действительно швыряли бомбы, зачастую отдав за это свою жизнь, омерзительно и бесчестно.

А как же испанская революция? Вооруженные группы анархистов (говорят авторы) «в качестве большинства самооправданий используют примеры (какие именно, нам так и не сообщают) из времен испанской революции, испанской войны и городских вооруженных столкновений, которые продолжались там даже после Второй мировой войны». Да, именно. Городские партизаны, террористы, имели какие-то «оправдания». Всегда имеют. Никто не берет в руки оружие, не имея на то причин. Чем еще удивите?

«Гражданская война в Испании – идеальный пример для нашего тезиса, потому что лозунг «сначала выиграем войну» использовали там против политики, чтобы остановить революцию, а потом обратить ее вспять, вернуть под контроль сталинистского республиканского правительства». Так рассуждают тупые ослы. Они ошибочно ставят знак равенства между тем, что австралийцы зовут «политикой», и тем, что сделали испанцы, – «революцией». Для белоручек из страны антиподов «политика» означает создание альтернативных институций (обычный левацкий набор: лоббирование электората, продовольственные кооперативы и т.д.) плюс пропаганда. Для всех испанских революционеров она означала гораздо больше и, уж конечно, включала в себя вооруженные действия. Революцию делают оружием – не в меньшей степени, чем войну. Когда колонна Дуррути заняла город Фрага и расстреляла 38 полицейских, священников, адвокатов, домовладельцев и пр. – это была политика. И революция. И, как говорят некоторые, терроризм. Если это – идеальный пример, то чего именно это пример, скажите, пожалуйста, если не коллективного политического насилия, примененного анархистами?

Верно, что насилие анархистов часто имело обратный эффект и не помогло одержать ни одной прочной победы. Но это всего лишь значит, что анархизм на настоящий момент провалился. Провалилась анархистская пропаганда. Провалились анархистские организации. Провалились анархистские школы. Если анархизм чего-то вообще достиг, то насилием (например, в Испании и на Украине) он достиг гораздо большего, чем любым другим путем.

На самом же деле, никакими путями анархисты не совершили ничего похожего на то, чего добились их соперники, – левые, фашисты и либералы. К примеру, анархистская пропаганда по действенности и близко не подошла к пропаганде нацистов, телеевангелистов и социалистов-фабианцев. Их институционное строительство (которое расхваливает австралийский консорциум) не дало ничего, кроме анархистов, пакующих гранолу в продовольственных кооперативах и поставляющих живую массу для демонстраций, которые, если ничего серьезно не ломается, СМИ все равно припишут сталинистам, феминисткам или «зеленым». Все, что умеют анархисты, другие умеют гораздо лучше. Не может ли быть так, что людей отпугивает собственно анархизм – не его образ? Что он так сильно пробуждает в них страх свободы, что

они рады схватиться за любую масс-медийную клевету вроде «терроризма», чтобы получить повод отвернуться и не смотреть?

Моя цель в этом эссе ограничена и негативна – прополоть какое-то количество сорняков, ничего не сажая. Если у анархистов и правда есть проблема с публичным образом, то она связана с самим анархизмом – не с изредка сопутствующим ему терроризмом. Кажется, что австралийских анархистов гораздо больше волнует не то, как анархистская идеология рассматривает так называемый терроризм, а то, как убедить собственное правительство в том, что они совершенно безвредны. К их вечному стыду, я абсолютно убежден, что это так и есть. Но любой анархизм, который хочет быть по отношению к государству более, чем просто безвредным, должен другим, куда более радикальным образом учитывать и «терроризм», и многое другое.

Феминизм как фашизм

Как сказано в названии известной детской книжки, «Свиньи – это свиньи» - независимо от того, какой формы у них гениталии. Ильза Кох – не «сестра», а нацистка. Любовь – это не ненависть, война – это не мир, свобода – это не рабство, сожжение книг никого не может освободить. Перед каждым, кто решит бороться с властью с помощью революции, встанет много сложных вопросов. Для начала, однако, надо правильно отвечать на простые.

Отбросим в сторону метафоры и гиперболы – то, что называется «радикальным феминизмом», представляет собой фашизм. Восхваляется шовинизм, цензура, материализм, квазинаучная антропология, поиски врага, мистическое единство с природой, поддельная псевдоязыческая религиозность, обязательные стандарты мысли и даже внешнего вида (в определенных кругах Гера сохрани феминистку, которая выглядит несоответственно или «женственно»). Вот вся та теория и большая часть той практики, которую нам следовало бы уже научиться распознавать. Зловещее сходство с тактикой классического фашизма видно и в совмещении частного активизма и государственных репрессивных средств. Так, журнал «Открытый путь» – анархистский «RollingStone» – поддержал недавние выступления против порнографии в Ванкувере не как прямое действие, вызывающее симпатию, пусть даже и направленное не туда, но как раз наоборот, потому что активисты заставили летаргическую прокуратуру открыть дело. В Италии после Первой мировой войны (и в Америке при запрещении ИРМ фашистские банды нападали на социалистические и профсоюзные организации при молчаливом одобрении полиции – которая вмешивалась только тогда, когда надо было прижать левых. Как я удивленно спросил когда-то: «Как же так получается, что эти бабы не лягут в постель ни с одним мужчиной, если он не районный прокурор»?

Не то чтобы меня хоть как-то волновали проблемы коммерческой порноиндустрии или там ее «права» на свободу слова и защиту собственности. Это все совершенно не по делу, которое вот в чем: почему для нападков выделяется именно этот вид бизнеса? Целевые атаки на порнографию выдают план и систему приоритетов – не просто спонтанный антикапитализм. Тем, кто проводит в жизнь продуманную политику, не к лицу жаловаться, когда мы интересуемся их мотивами и подвергаем их сомнению.

Любая фашистская идеология противоречивым образом уверяет свою целевую группу, свой избранный народ в том, что он одновременно и *лучше других*, и *подвергается угнетению*. Конечно же, немцы *на самом деле* не проиграли Первую мировую войну – как это возможно? Они *по предположению* превосходят других – следовательно, их предали. (Как, интересно, высшая раса допустила такое?) Феминистки и Движение против порнографии (ДПП) рассказывают нам с пеной у рта в канадском журнале «KickitOver», что мужчины (исключительно) «создали цивилизацию, уничтожающую природу и низводящую женщин». Если так, то или женщины вообще не

внесли в цивилизацию никакого вклада, или в этой цивилизации есть таки что-то еще вместе с или вместо уничтожения природы и низведения женщин.

В собственных целях (которые порой не более возвышенны, чем тривиальная половая конкуренция с гетеросексуальными мужчинами за объекты, желанные для обеих групп), самозванные радикальные феминистки на самом деле сводят женщин к состоянию беспомощного, дрожащего от страха полуовоща, пассивной жертвы мужского насилия и презрения. Это такое глубинное оскорбление женщины, какого вы не найдете в худших образцах традиционной патриархальной культуры: ни в еврейском взгляде на женщину как на источник грязи, ни в кошмарном христианском образе женщины-соблазнительницы, женщины как бесконтрольной природной силы. Здесь женщину хоть и клеймят как источник зла, но хотя бы не приписывают ей бессилия. Современный стереотип женщины-жертвы не просто прямо восходит к патриархальным взглядам викторианского XIX столетия, когда (для буржуазии) женщины играли роль безвольного украшения, но, хуже того, отказывает женщине в присутствии каждому творческом потенциале – и тем самым ставит проблемы женщин на ту же доску, что и проблемы африканских обезьян или китов, истребляемых китобоями.

Напротив, примем то, что отрицают только наиболее безумные феминистки и женоненавистники, – предположим, что все не *так* плохо и что женщины в истории были не только объектами, но и субъектами. Тогда как можно женщин – и другие угнетенные группы людей, рабочих, чернокожих, индейцев – *полностью* оправдать от обвинения в соучастии, в том, что они помогли создать систему, обрекающую их на угнетение? Существуют причины, почему система устроена именно так. Отрицать их существование нет права ни у кого.

У меня в этой дискуссии нет личных мотивов. Меня никогда не смущал тот факт, что некоторые женщины не любят мужчин, вплоть до того, что не хотят иметь с ними ничего общего. Я сам большинство мужчин не люблю – особенно архетипически «мужественных». Не могу не заметить, однако, что большинство женщин думает по-другому. Радикальные феминистки это тоже заметили, и это их доводит до белого каления. Конечно, я немедленно соглашусь, что подавляющее большинство бывает не право. Иначе все мы были бы просто маргинальными сумасшедшими – теми бессильными дураками, за которых почти все нас и так принимают. Но когда я критикую большинство, я не претендую на то, чтобы говорить от его лица. Радикальные феминистки, напротив, воспринимают себя как авангард. В таком качестве им приходится придумывать рациональное объяснение собственной неприязни. И они успешно делают это – создавая из собственных предрассудков фаллодетерминистскую демонологию. Возненавидев мужчин, они вынуждены возненавидеть и женщин.

Отождествление порнографии с изнасилованием – а это, за всей пеной у рта, и есть ключевая мысль ДПП – должно, по-видимому, заставить людей воспринимать порнографию более серьезно. Но если при этом всем заправляют мужчины и если (как нам говорят) Система по природе своей сглаживает и лишает сути все оппозиционные идеи, и феминизм как самую радикальную из них, то естественно ожидать, что в результате, наоборот, изнасилование станет восприниматься как нечто тривиальное. Это все та же старая байка про женщину, которая слишком часто кричала «Волк!».

(Аналогичным образом стандартная максима масс-медиа, что «антисионизм есть антисемитизм», чудесно обеляла Израиль – до тех пор, пока его экспансионизм и экстерминизм не наплодили достаточно антисионистов, которые вот-вот примут эту бнай-бритовскую теорию за руководство к действию.)

В соответствии с эпистемологией феминизма мужчина не понимает в истинной природе женщин вообще ничего. Логично предположить, что барьер между полами, созданный разделением ролей и дискриминацией, будет работать в обе стороны – и многие из нас, основываясь на собственном опыте, нехотя именно так и начинают думать. Но нет: мужчины не понимают женщин, но женщины (но крайней мере, их радикально-феминистский авангард) отлично понимают мужчин. Женщины – во всяком случае, эксперты-феминистки – понимают порнографию и ее смысл для мужчин гораздо лучше, чем сами мужчины, которые ее производят и потребляют. А лучше всего это понимают лесбийские сепаратистки, которые мужчин вообще избегают и отказывают им в половом общении. Чем дальше твой жизненный опыт отстоит от реальной жизни реальных мужчин, тем лучше ты эту жизнь понимаешь. Обращая знаки: не значит ли это, что римский папа, как он и утверждает, есть главный эксперт по женщинам и по сексу?

Постулируемая связь порнографии и изнасилования – это аллегория, а не факт. Это корреляция того же типа, что и недавно снова вытасченное из сундука «косячное безумие», неумолимо тянущее Повесу («Насильника»?) по дороге разврата от марихуаны к героину – того же типа и по бредовости, и по полезности для государственных структур. Если феминизма не существовало, консервативным политикам следовало бы его изобрести. (Почему, скажите на милость, исключительно мужские законодательные органы вообще запретили «непристойности»? И почему исключительно мужские суды так упорно исключают «непристойности» из списка предметов, защищенных конституционной свободой слова?). Если менады из ДПП когда-нибудь захотят иметь дело с людьми, а не с собственными горячечными представлениями о них, то они с удивлением обнаружат, что порнография почти не интересует большинство мужчин старше подросткового возраста – и не потому, что они все политкорректны, а потому, что порнография чаще всего тупа и неопытна, а главное, не идет ни в какое сравнение с реальностью.

Феминистки, уничтожающие книги – трусливые приспособленки. Если они действительно возражают против подсознательного навязывания женщинам моделей поведения, подчиненных мужчинам (притом что забавным образом те же роли по отношению к активным лесбиянкам – это так, невинное развлечение), то главной и почти единственной мишенью атаки должны быть «Космополитен», женские романы Барбары Картленд, все эти тонны криптопорнографической поп-литературы, производящейся для женщин и женщинами с радостью потребляемой. В конце концов, насилие и кровавые ошметки это лишь следствие – только с жертвой можно обращаться как с жертвой. Пятнадцать лет назад первые сторонницы женского освобождения (сейчас чудесным образом превратившиеся в священниц, адвокатесс и бюрократок высшего эшелона) по крайней мере набрасывались на людей влиятельных – вроде ХьюХефнера и ЭндиУорхола. Сегодня они терроризируют малолетних панков-анархистов, которые (этот пример взят из фэнзина «TheMatch!») публикуют коллаж, где показывают Маргарет Тэтчер как правительницу, как «повелительницу

тысячи мертвецов», а не как «сестру». Вот она, логика причудливого биологического детерминизма: каждое животное, имеющее влагалище, это «Мы», в то время как каждое существо, удостоившееся пениса, это «Они». Можно только вспомнить скетч театра Файрсайн: «Кто это «мы», собственно?»

Вот, кстати: леваки мужского пола зачастую легко и с энтузиазмом поддакивают феминистскому самовозвеличиванию. Тут смешиваются чувство вины за прошлые прегрешения (тот, кто *ощущает* вину – перед женщинами, черными, иностранцами, кем угодно – как правило, *действительно* виноват) и желание в настоящем залезть феминистке левого толка под блузку. И вот Беркли, штат Калифорния (по соседству с которым я живу), переполняется мужскими «феминистами», перешедшими в новую религию, чтобы облегчить себе половую жизнь. То же мошенничество, кажется, происходит и в Торонто, и во многих других местах. Сами по себе эти скрытые желания, разумеется, никак не дискредитируют принимаемую идеологию – человек может прийти к правильным выводам самым неправильным из путей. Но постольку, поскольку обсуждаемые мнения кажутся очевидно идиотскими всякому, у кого нет посторонних причин принимать их, пароксизмы интеллектуалов-мужчин, никак иначе не объяснимые, приходится признать нечестными рационализациями.

Возможно, идеология, которую я разнес в клочья, – это просто нечто, через что надо пройти, чтобы в достаточной степени освободить себя для осмысленных революционных проектов. Выпускницы школы феминизма уже сейчас понемногу переходят к поискам свободы для всех, и многим пережитое только на пользу. Всем нам есть чего стыдиться в молодости (марксизм, либертарианство, синдикализм, объективизм и т.д.) – если бы мы не думали когда-то в терминах готовой идеологии, то не дошли бы до той точки, когда можем думать самостоятельно. Быть троцкистом или иезуитом – все это само по себе значит быть верующим, иными словами, болваном. Тем не менее, энергичная пробежка по *любой* системе от начала и до конца может показать, как выйти из Системы с большой буквы.

Но не тогда, когда критики-женщины объявляются ренегатками и подвергаются обструкции, а критики-мужчины из принципиальных соображений игнорируются или поливаются грязью. (В точности параллельный механизм для обеспечения молчания работает у сионистов: критики-неевреи – это «антисемиты», а критики-евреи, уж конечно, снабдаемы «ненавистью к себе».) Конечно, сепаратизм как социальная программа абсурден и полон противоречий (практически никто из сепаратисток не отделяет себя от патриархального общества настолько, насколько это делают сюрвайвалисты – и никто больше сепаратисток не лезет в чужие дела). Но и при частичной изоляции легче индоктринировать новообращенных и скрывать неблагоприятные факты и аргументы – кроме радикальных феминисток, это заметили кришнаиты, муниты и прочие тоталитарные секты. Большая удача то, что их доктрины и субкультура так неаппетитны на первый же взгляд. В самом деле, как я заметил, радикальный феминизм седеет – чем больше тухнет и сходит на нет политическая культура 60-х, тем меньше молодых женщин получает достаточно предварительного замачивания для успешной феминистской промывки мозгов. Радикальные (так сказать) феминистки младше 25 лет встречаются редко, и чем дальше, тем реже.

Итак, радикальный феминизм (и незачем пытаться оспаривать термин у теперешних его обладательниц) – это смехотворная, полная ненависти, тоталитарная,

сексистская догматическая конструкция, которую революционеры незаслуженно легитимизируют, принимая ее всерьез. Хватит по-сестрински опекать этих террористок банальности, пора призвать их к ответу за озвучиваемые призывы к геноциду и за практикуемые бесчинства (всевозможные даже, честно говоря, изнасилования!), которые, как они утверждают, выпали на их долю (но чаще, как оказывается при внимательном рассмотрении, на долю какой-нибудь гипотетической «сестры», поскольку типовая радикальная феминистка живет совсем неплохо). Как остановить феминификацию? Нет ничего проще: примите их слова за чистую монету, обращайтесь с ними как с равными... и наслаждайтесь их жалобным воем. Королева-то голая! – вот *это* действительно непристойно.

Обман категории А в кружке

«Переработанный мир» – это хорошо сделанный, иногда смешной, по большей части не замусоренный жаргоном антиавторитарный журнал, выходящий в Сан-Франциско и нацеленный на работников информационной сферы – тех, кто трудится в Финансовом квартале и прилегающих цитаделях капитализма. Выпустив шесть номеров, каждый тиражом в несколько тысяч, «ПМ» получил в даунтауне что-то вроде культовой славы. Среди журналов такого масштаба он безусловно самый радикальный. Приятно видеть левое издание на 60-70 страниц, которое отпускает обычные антирейгановские банальности и пытается всерьез размышлять о наемном труде, промышленных технологиях и репрессивных реалиях повседневной жизни.

Учитывая все это, однако, выработанное мной мнение об этом издании в целом отрицательное. Его «курс» – а за редкими исключениями у «ПМ» есть определенная, хотя и скрытая идеология – более консервативен, чем кажется на первый взгляд. Все было бы не так плохо, если бы «ПМ» открыто признал свои политические убеждения и честно обсудил бы их с несогласными среди несогласных, – но именно этого «ПМ» и не позволяет. Журнал пропитан неискренностью, а тщательно сконструированный образ, предлагаемый читателями, фундаментально нечестен. Единственное, что хуже ленинистскоговангардизма, претензии на роль лидера – это сублиминальный, анархо-нечаевскийвангардизм. Его я и хочу проявить.

«ПМ» позиционирует себя как продукт «диссидентов офисного труда», постоянно твердящих о своей открытости, о нелюбви к сектантству и о здравом смысле: *обычные люди*, а не очередная шайка идеологов. Их подходец – ослабить естественное недоверие рядовых рабочих к организаторам, сказав им: «Эй, мы такие же белые воротнички, как и ты, мы работаем то же время, просто мы еще и раз в три месяца пишем, оформляем, печатаем и продаем глянцевый журнал».

Все это вранье. Настоящие офисные работники и сейчас составляют и, скорее всего, всегда составляли в коллективе лишь меньшую часть. Так или иначе, важен не точный процент, а подразумеваемый тезис: все антиистеблишментные идеи «ПМ» якобы спонтанно зародились в головах до того совершенно невинных офисных пчелок из Финансового квартала, работающих в условиях, которые, в лучших марксистских традициях, механически порождают «антиавторитаризм». Этот термин, кстати, тоже служит частью прикрытия – эвфемизмом для слова, которое в «ПМ» у всех на устах, но крайне редко попадает в журнал: (о ужас!) *анархизм*. Не надо пугать секретарш! Может быть, после, когда мы организуем рабочий класс... но не сейчас!

Правда же в том, что доминирующая фракция в «ПМ» – включая правящую тройку в лице «Максины Хольц», «ЛюшиусаКэбинса» и «Луи Михельсона» – это технофильское крыло распавшегося сейчас Союза обеспокоенных коммуняк, который в конце 70-х собрал нескольких беженцев из разных ситуационистских группок и других либертарианцев и левых коммунистов. Почти все в «ПМ» имеют за плечами длинную

политическую биографию, многие параллельно участвуют в других проектах – от анархо-синдикалистского журнала «Идеи и действие» до нигилистских коллажей «Аноми». Независимо от того, работают ли эти люди в офисах, они по сути, по личным приоритетам и самоидентификации – политические активисты, а работают только постольку поскольку. (Хольц, к примеру, иногда выполняет какую-то секретарскую работу – но коммунизм рабочих советов она выучила в Беркли, у своего преподавателя Михельсона.)

С того самого момента, как в «ПМ» № 5 недовольная сотрудница «ГиджитДиджит» дала (черному) коту высунуть голову из мешка, «тройка» пытается засунуть этого кота обратно: с одной стороны, туманно признавая прежние политические успехи, а с другой – яростно настаивая, что, по словам Михельсона (№ 6), «ПМ» не задуман профессиональными леваками, "профессиональными революционерами", чтобы въехать в Финансовый квартал и просветить массы "белых воротничков". Это говорит человек, который заимствовал у Прогрессивной партии труда идею использовать безработных сотрудников журнала для того, чтобы проникать на избранные предприятия и разжигать там революцию! Че вечно жив! – но я не хотел бы оказаться на месте *настоящего* офисного работника, который попал в ловушку забежавшего на минуту левацкого провокатора. К счастью, другие граждане из «ПМ» идею отвергли.

Более тонкая манипуляция скрыта в самом формате проекта «ПМ» – на самом деле, необычайно жестком. Кто бы мог подумать, что сан-францисские секретарши, тем более работающие в информационном секторе, так важны и так четко выделяются из общей массы, чтобы оправдать существование более двадцати радикалов, производящих журнал специально для них? Унижения со стороны начальства, постоянное взвинчивание темпов работы, подхалимство, дискриминация, ненужная и сверхурочная работа – на фабрике или в магазине все это можно найти с тем же успехом, что и в офисе, а в деревне этого не меньше, чем в стильном мегаполисе. Если одни работники чем-то сильно отличаются от других, почему «ПМ» не говорит, чем именно? Или, поощряя солипсизм Сан-Франциско, они всего лишь *культивируют целевую группу?*

Если уж на то пошло, то коммунизм рабочих советов, который вскользь и без страшных политических слов пару раз рекламируется в каждом номере, – далеко не новость. Почему бы не ознакомить немые массы с высшими достижениями диссидентской традиции? Думаю, кое-кто из читателей журнала следил бы за такими темами с интересом и не без понимания. Вера в то, что читатели «ПМ» слишком тупые или слишком нежные для исторических экскурсов и четкого политического анализа, выдает глубинное презрение манипуляторов к объекту манипуляции. Если авторы в состоянии изложить свои истинные взгляды, не используя надоевший жаргон – отлично! Но если уж нельзя сказать правду без тенденциозной терминологии, то нужно использовать ее, а не скрывать, что ты на самом деле имеешь в виду. Если тебе в пору деревянный башмак, так и носи его на здоровье!

Нам говорят, что среди сотрудников «ПМ» есть люди самых разных взглядов. Это правда. Однако же рядовой читатель вынужден принимать это на веру – поскольку ни одно из всех представленных учений – от анархо-синдикализма справа до ситуационистского автономизма слева – никогда не попадает в печать. Реальный процесс редакции в «ПМ» превращает весь заявленный плюрализм в издеватель-

ство. Например, автора художественного произведения два раза подряд попросили переписать концовку рассказа, чтобы выдержать идеологическую линию. Письма подвергаются необъявленной правке. Хотя для одного-двух лишенных содержания писем от поклонников в стиле «о, здорово!» всегда найдется место, любая критика зажимается – не считая такой глупой, чтобы автору можно было дать уничтожающую отповедь. На самом деле, большую часть места в разделе для писем занимают тексты сотрудников «ПМ».

Если в фирменной идеологии «ПМ» и есть что-то новое, то это мысль о том, что благодаря компьютерам и информационным технологиям стало возможным добиться всеобщего участия в планировании производства. Фантастика в стиле «фетиш», которую они изредка печатают – например, намеки на противоестественные отношения между секретаршей и ее калькулятором, – заставляет думать, что кое-кому из них мечта о «рае с кнопками» важна по личным психологическим причинам. Но перспектива эта просто утверждается – она не обсуждается и не анализируется. Учитывая, что вопрос о технологиях при создании журнала был основным, крайне грубо не позволять на его страницах никакой критики положения, что «в самих по себе компьютерных технологиях нет никакого вреда». Кроме всего прочего, технофилы смутились бы, узнав, что некоторые из их критиков радикальнее их самих.

Точно так же любые «неодобрения» в адрес работы в «ПМ» всегда снабжены ремаркой типа «как мы ее знаем» или само слово работа заменено на что-то безопасное вроде «наемного труда». Предполагается, что принудительный труд в каком-то количестве должен быть сохранен. Некоторые, включая меня, вообще отвергают такую необходимость – но наши взгляды, хоть они и имеют прямое отношение к делу, в издании высказать нельзя. Может быть, революция не должна зависеть даже от разумно перестроенной, демократически управляемой экономики, в которой жизнь человека все равно подчинена производству товара? Может быть, революция – это новый образ жизни, это общественные отношения между играющими, радостными творцами? Может быть, кое-кому из клиентской базы «ПМ» – «стервозных секретарш» и «диссидентов офисного труда» – больше по нраву нежничать друг с другом, а не с калькуляторами? Но «ПМ» защитит их от сомнений, которые эти вопросы могли бы посеять среди недостаточно подкованных в социальной теории.

Робость в вопросе работы ведет к тривиализации специфического юмора «ПМ» – возможно, лучшего, что в нем есть. В американских офисах издавна процветала мягкая, безвредно-непочтительная культура шуток и ворчания по поводу начальства. Но если оценивать юмор, то выходки Дагвуда и Мистера Дизерса – далеко не самое разрушительное, что бывает. Вещи, которые в контексте открытого отрицания работы звучали бы сильнее – вроде текстов песен Тома Уорда, графики Грега Джемрока, Фредди Бэр и других, потешного рассказа Мелинды Гебби о временной работе в собачьей больнице, – все это смотрится хуже, чем могло бы. Не исключено, что «ПМ» поддерживает традицию клапана, через который американские рабочие спускают пар – вместо того, чтобы вскипеть и спустить с лестницы саму работу как класс.

Даже если бы не было недавних утечек информации изнутри журнала, вряд ли мы долгое время не замечали бы, как якобы эклектичное собрание недовольных клерков строится по четко определенной струнке принятых левых взглядов. Какое совпадение – случайное объединение антиавторитаристов воспроизводит в мель-

чайших подробностях все основные идеологии левого анархизма! Довольно долго хотя и со все более тяжелым сердцем, я прощал журналу эти мелкие махинации – поскольку, в конце концов, застывшая догма и риторика *действительно* отпугивают людей – тех, кто, посмотрев на сами идеи непредвзято, мог бы найти в них смысл. Но в какой-то момент маску надо было сбросить. Лучше уж отпугнуть людей, чем пытаться их задурить. «Переработанный мир» воспринимает своих читателей как массу, которую следует обольщать и обманывать. Снятся ли овцам электрические андроиды? Да – если они читают «Переработанный мир».

Из мусора – только мусор

(Скандал с «Переработанным миром»)

Как и большинство оппонентов «Переработанного мира», вначале я его поддерживал. Я раздавал образцы журнала тем своим знакомым – абсурдистам, авторам фэнзинов, рыночным «либертарианцам» – на кого ультралевые из высшего общества, управлявшие «ПМ», смотрели свысока. В 1982 году я даже составлял для журнала бесплатные юридические справки – к ним тогда предъявлял претензии банк, на чьей территории они поставили свою торговую точку (по иронии судьбы, это был чуть ли не единственный случай, когда я действительно занимался юридической деятельностью, – хотя шавка «ПМ» Фред Вудворт сейчас зовет меня *мерзким адвокатшишкой*). Летом того же года моя подруга вошла в коллектив «ПМ», и я получил возможность лично познакомиться с редакцией. В конечном счете, мое мнение по поводу «ПМ» сменилось на отрицательное, и в январе 1983 года я опубликовал в журнале «Призыв к разуму» (Сан-Франциско) критическую статью – по сути, с теми же аргументами, к которым независимо друг от друга пришли диссиденты внутри «ПМ» и разные посторонние наблюдатели. Все эти аргументы и сейчас сохраняют силу. На самом деле, внутренние документы «ПМ», предоставленные бывшими рядовыми членами коллектива, показывают, что моя критика была слишком мягкой. Вот аргументы моей статьи «Обман категории А в кружке», исправленные с учетом новой информации.

Коллектив «Переработанного мира» фальсифицирует биографии и социальное происхождение своих членов, особенно начальства. Люди в «ПМ» – не «диссиденты офисного труда», за коих себя выдают, потому что ни сейчас, ни раньше они не работают и не работали в офисах. Редакторы Крис Карлссон («Люшиус Кабине») и его гражданская жена Кейтлин Маннинг («Максина Хольц») – владельцы коммерческой типографии, созданной, как и ранние выпуски «ПМ», на те 7 тысяч долларов, которые (по ее словам) Маннинг получила в наследство от дедушки, карикатуриста правого толка Эла Каппа. Завершает правящую тройку «ПМ» Адам Корнфорд («Луи Михельсон»), червяк из высшего общества и школьный учитель родом из Англии, потомок таких светил, как Чарльз Дарвин и специалист по античности Ф.М. Корнфорд (и родственник Джона Корнфорда – поэта-сталиниста, на которого «Михельсон» старается во всем походить). Том Атанасиу, один из тех, кто пытался меня избить в ноябре 1984 года, работает программистом-консультантом; правоверные Бони Торесон («Хелен Хайуотер» – я пользуюсь ее собственной запиской для внутреннего пользования), «Зоя Ноя» (вторая нападавшая), Линда Томас и «Мид-О» (бр-р-р) тоже не работают в офисах даунтауна Сан-Франциско. Настоящие оппозиционеры офисного труда, когда-то участвовавшие в «ПМ» (Гиджит Диджит, Салли Фрай, Донна Косси – «OutofKontrolDataInstitute», «Фредди Бэр» и другие), теперь находятся в оппозиции к самому «ПМ».

Журнал исповедует (при этом лживо отрицая это) определенную политическую систему, которую не позволено ни критиковать, ни даже называть. Начальство врет о своих политических биографиях так же, как о своем социальном происхождении и классовой принадлежности. Все главные фигуры – с давних пор политиканы левацкого толка, младшие (Маннинг и Карлссон) – семь или восемь лет, старшие (Атанасиу, Корнфорд) – по крайней мере, лет двенадцать. Старики проталкивали идеологию «ПМ», левую марксистскую доктрину коммунизма рабочих советов, еще в 1973 году, в газете «Новое утро». Внимательно прочитав «ПМ», мы увидим, что они не поменяли своих взглядов. «ПМ» подается как журнал прагматичный, открытый и «антиавторитарный». Он как бы намеревается вести ничем не ограниченные дискуссии, приглашать читателей к соучастию – утверждается даже, что цель – ликвидировать грань между читателями и писателями. Наглое вранье! «ПМ» подавляет любые попытки проявить и обсудить ту идеологию, которую он втихую впаривает своим читателям. (Псевдоним Маннинг – читая «ПМ», вы этого никогда не узнаете – происходит от имени немецкого коммуниста Макса Хольца.)

Руководители издания предполагают, и правильно, что у их целевой группы – образованных «белых воротничков» (причем белокожих – хотя в Сан-Франциско клерки и машинистки низшего эшелона почти всегда черные или желтые) – аллергия на идеологию, а левизна вызывает у них скуку. «ПМ» хочет спасти левачество, сменив этикетки. Кроме того, он хотел бы организовать офисных работников в отдельную политическую силу и возглавить ее. Это единственная оригинальная идея «ПМ», основа их стратегии. Старомодные леваческие секты по-прежнему торчат у проходных заводов и у биржи труда, но они не обращают внимания на офисы – где, как надеется «ПМ», и следует искать жизнь. По крайней мере, там следует искать обкуренных ветеранов студенческого и хипповского движения. «ПМ» видит шанс опередить конкурентов и застолбить сектор целиком для себя.

Другая важная часть идеологии «ПМ» – технофилия; ее левое крыло они просто себе присвоили. Издание определенно выступает за технологии – несмотря на луддистские образы в некоторых рисунках (в основном в ранних номерах), принадлежащих авторам, которых с тех пор из журнала выгнали. Самый первый номер (как и недавний № 12) содержит панегирик «освободительному потенциалу компьютерных технологий», авторство которого принадлежит Атанасиу, имеющему личный интерес. Осуждаются только извращения и ограничения, наложенные капиталистической организацией производства – которая, как ни странно, эти технологии и породила. Противников технологий в «ПМ» никогда не допускали, хотя и позволяли себе заочно их высмеивать: Атанасиу подначивает неназванных сумасшедших, стремящихся к «буколической роскоши», хотя нужно нам то, чего жаждет сам Атанасиу, видимо, обделенный природой, – «мощные инструменты».

В споре за и против технологий, сыгравшем важную роль в развале породившей их группы, Союза обеспокоенных коммунист, «ПМ» совершенно недостаточно прикидываться дурачками – хотя именно это Корнфорд пытался сделать в своем ответе на «Обман категории А в кружке». (Который, кстати, стал возможен только потому, что я по-товарищески дал почитать корректуру моей статьи одному из сотрудников редакции – поскольку в то время питал надежды на то, что «ПМ», антиавторитарный и т.д., сам ее напечатает.)

Еще одна институция социального управления, которую нельзя критиковать, – это работа, при этом невнимательный читатель подумает, будто «ПМ» выступает против нее. Атанасиу и Торесон явно, все остальные в журнале, следуя Библии и Конституции СССР, неявно, учат, что работа – неизбежное зло: просто рабочие советы под руководством «ПМ» уменьшат ее количество, хотя она останется обязательной, а заодно станет необходимым условием для участия в принятии общественно важных решений. Последнее же наследство старого мира, к которому льнут наследники и наследницы «ПМ», – организация. Кое-кто не желает, чтобы его организовывали и вели, даже если это делают стильно и современно. «ПМ» презирует организации старого типа – партии и (с большей осторожностью) профсоюзы – за те или иные конкретные промахи, но надеется заменить их собственной структурой. В осуждении организаций, как и во всем остальном, журнал боится выплеснуть ребенка вместе с водой.

Сам «ПМ» организован иерархично и безо всякой демократии. Последнее слово всегда остается за основателями и, по совместительству, хозяевами средств производства – за Маннинг и Карлссоном. Единственная серьезная критика, которую допустил «ПМ» на примерно 900 страницах 13 глянцевого номера, – это старая статья ГиджитДиджит и пара коротких писем Джима Брука и Бернарда Маршалка, кстати, подтверждающих «Обман категории А» настолько, на сколько им это позволили. Критические замечания – дружественные, конструктивные критические замечания – таких разных личностей, как Брайан Кейн, Ирв Томас, ГрегДаннингтон, Джон Зерзан и Джерри Рейт провалились в черную дыру. В «Обмане категории А» я отметил и обругал эту политику цензуры, но она продолжается – в то самое время, когда «ПМ» хвастает своим плюрализмом. Если кто-то сомневается – выберите из мною описанного что-нибудь особенно неприятное для этой организации, напишите им об этом письмо и посмотрите, пойдет ли оно в печать (или хотя бы получите ли вы прямой ответ).

Вопреки утверждениям, внутри издательской группы «ПМ» нет никакой связи между участием в труде и участием в принятии решений – хотя если бы такая связь существовала, ее уже было бы достаточно, чтобы осудить гипотетически «антиавторитарный» коллектив. На самом-то деле, поденные рабочие «ПМ» – СаллиФрай, ГрегДаннингтон и особенно Фредди Бэр – делали гораздо больше, чем влиятельные интеллектуалы-бездельники вроде Атанасиу или, хуже того, его учителя Корнфорда. Власть в «ПМ» прямо зависит от идеологического согласия с «тройкой» и/или подчинения ей – более ни от чего.

Главная моя ошибка в «Обмане категории А в кружке», отразившаяся даже в названии – это переоценка роли, которую в «ПМ» играли анархисты. В 1982 году в группе было полно анархистов, может быть, даже большинство, но начальство было марксистское, а сейчас анархистов там очень мало – если они вообще остались. Ни одно из действительно важных решений, сделанных «ПМ» за последние месяцы (попытка избить меня, лишить меня средств к существованию, натравить на меня полицию, попытка получить решение суда, запрещающее мне публично делать «ложные» утверждения о «ПМ» и даже «упоминать» эту секту, и, в конце концов, попытка добиться моего ареста), не принималось на коллективном собрании. (Причем ны-

нешние шестерки «ПМ», уж конечно, не стали бы возражать – «тройка» наконец-то получила таких работников, каких желала.)

Так ситуация представлялась мне два года назад – и безусловно, именно так дело обстоит и сейчас. Опровержение Корнфорда на «Обман категории А» вышло в том же номере того же журнала «Призыв к разуму», но в «ПМ» мою статью так и не напечатали и ни разу ее не упомянули. Это не значит, что начальство не было встревожено. Как обнаружила работавшая тогда в «ПМ» Фредди Бэр, как я с тех пор постоянно утверждал и как подтверждает «ПМ» своим молчанием, руководство издания поставило себе целью не допустить, чтобы «Обман категории А» перепечатали в каком-нибудь анархистском или антиавторитарном журнале, – и это им практически удалось. Это, вместе с одновременным устранением радикального меньшинства в коллективе (откуда уже ушли Даннингтон, Бэр, Диджит и Куки Аллен), а также с систематическими публичными и частными попытками объявить меня сумасшедшим, чтобы не отвечать на мои аргументы, показало мне, насколько «ПМ» успел превратиться в секту, и (не стыжусь признаться) *дико меня разозлило*. После чего я начал распространять «Обман категории А» в виде листовки, снабженной списком всем известных настоящих имен начальников-цензоров из «ПМ».

Хотя «Переработанный мир» утверждает, что я помешался не то на них, не то лично на их обезьяноподобной матриархальной вождихе Маннинг, больше года я замечал их, только когда писал про их новые выходки в журнале «SRAFBull», крошечном анархистском АРА – точно так же, как про другие махинации макиавеллиевского толка: вроде деяний монреальской шайки «BlackRoseBooks /Anarchos Institute» или провокаций Пата Мертага, который по ложным обвинениям напускал федеральных агентов на «Прямое действие» (в чем теперь даже он с неохотой раскаялся).

Очевидную ясность в вопрос о «ПМ» внесло паломничество в Никарагуа, которое Кейтлин Маннинг совершила в 1983 году – после чего напечатала в предположительно «антиавторитарном» журнале «Без компромиссов» путевые заметки, где открыто встала на сторону «великодушной диктатуры» сандинистов (ее термин). Антиавторитарных критиков режима она обозвала «бешеными». Через год, когда Салли Фрай (экс-«ПМ») написала ответ, «тройка» выгнала ее и другого сумасшедшего, Кевина Китинга, из того офиса «ПМ», где проходили редакционные советы «БК» и где делали этот журнал. И Карлссон, и Маннинг блефовали, угрожая Фрай, что вызовут полицию и арестуют ее за незаконное проникновение на территорию, но она не поддавалась на шантаж. При этом, используя «БК» в своих целях, люди из «ПМ» по сути уничтожили более им ненужный журнал – вот о чем следует задуматься тем, кто защищает «ПМ» ради «свободы слова».

В конце 1983 года, без ведома описываемых лиц, «ПМ» начал распространять эссе Карлссона, якобы объясняющее, почему такие (несчетные к тому времени) толпы людей ушли из «ПМ». «Кэбинс» вещает, что мотивации дезертиров «нельзя свести к общему знаменателю», – хотя даже читателю, который вынужден следовать излагаемой версии истории-для-победителей, не составит труда сделать то, что Кэбинс не смог. Помимо собственной воли он доказывает, что все ушедшие из «ПМ» критиковали невнимание руководства к политическим разногласиям внутри группы. Хотя я в «ПМ» никогда не участвовал, Кэбинс не избежал соблазна охаять и меня – как опасного психа, которого нельзя принимать всерьез. Стратегический подход «тройки» к

вопросу о политических противниках – просто избавиться от всех несогласных. Ту же стратегию применили к критикам извне; когда стало ясно, что для этого нужно их экономически уничтожить или физически довести до инвалидности, именно это и попытались осуществить.

Диалектиков из «ПМ» преследует противоречие: нельзя одновременно добиться заметности и скрыть свое происхождение и свои цели. Пришедшие снова уходят или отходят от дел, появляется скука, каждый следующий номер журнала, который сперва читают из-за новизны, повторяет все предыдущие. Как следствие, возникает высокая текучесть кадров – тех, кто производит журнал, и тех, кто его потребляет, – и она только усиливает режим постоянного поиска новых рекрутов, столь важный для исповедуемой политической стратегии. Капитализм должен расширяться или умереть, а потому порождает империализм. Точно так же менеджеры «ПМ» не могут успокоиться, не обеспечив все большую поддержку в других изданиях. А поскольку число их ограничено, то и выбирать не приходится.

К настоящему времени все в «ПМ» выучили песенку наизусть. Они мастера шоу, которое гарантированно производит описательную статью по заданному канону в любом издании – от правого «Сан-Франциско экзамайнер» до леволиберальной «Матер Джон» и до «анархистского» «Матча», не считая компьютерных глянцевых журналов и прочих коммуникативных каналов, которые они контролируют или на которые имеют выход, вроде «Медиа/Файл», «It's about Times» и «Идей и действий» (личного хобби Тома Ветцеля, верного холуя «ПМ»). Порой люди задумываются: кто такие «ПМ», чего они хотят; в этот момент организация, которая систематически обрабатывает систему, резко опускает завесу секретности и объявляет всякого, кто выносит на свет божий неприятные факты, «полицейским стукачом». Но чем больше людей они перерабатывают, тем больше людей узнают, в чем дело. «ПМ» стал жертвой собственной демонологии; они не понимают, что, избавившись, например, от меня, они просто откладывают неизбежное, свой конец – когда, как в «Смерти коммивояжера», ты улыбаешься, но тебе больше не улыбаются в ответ.

В августе 1984-го «ПМ» по глупости форсировал кампанию борьбы с критиками. Вернувшись из очередной заграничной поездки, Кейтлин Маннинг увидела (по ее словам) номер «SFARBull», где описывалось, как она пыталась изъять из «Без компромиссов» статью, осуждавшую ее поддержку «великодушной диктатуры» сандинистов. Кроме того, она обнаружила, что, как она выражается, ее городской район Хейт-Эшбери украшен плакатами с «Обманом категории А». Эти плакаты, вместе большим количеством других листовок, для нарциссизма неинтересных, появились именно там и больше нигде потому только, что тем летом злая судьба заставила жить в Хейт меня самого.

Плакаты – главная моя политическая деятельность начиная с 1977 года, и будь я проклят, если оставлю ее ради какой-то гиперчувствительной ленинистской лгуни. Еще за несколько месяцев до того я увидел, как Адам Корнфорд обрывает мои листовки (к тому же не про «ПМ»), и в ответ на эту попытку лишить меня свободы непосредственного выражения ликвидировал плакаты «ПМ» и их союзников-леваков, рекламировавшие мероприятие «ПМ», «Ярмарка конца света» (май 1984). Я был готов на этом закончить битву, но «тройка» решила ее продолжать.

Кроме очередного (и более не скрываемого) этапа борьбы с моими плакатами, «ПМ» стали досаждают людям, которых они со мной связывали, – на улице и по телефону. Больше всего телефонного хулиганства и уличных оскорблений досталось Донне Косси, автору графики для журнала (под именем «OutofKontrolDataInstitute») и тягловой лошадке всего проекта на протяжении первой половины его существования – просто потому, что тем летом я жил у нее. СаллиФрай, бывшая уже в немилости, поскольку написала к тому времени еще неопубликованную отповедь Маннинг, попала под огонь за то, что рассказала мне о редакционном собрании «Без компромиссов» – о том, где людям из «ПМ» в кои-то веки не удалось заставить журнал зажать критику их идей и поступков.

Преследования невинных третьих лиц меня разозлили; разозлило и то, что, как выяснилось, на плакатах с «Обманом категории А» люди из «ПМ» приписывали к моему имени «полицейский стукач». Де-факто это была угроза насилия, не первая и не последняя, которую «ПМ» произвел на свет, чтобы задавить распоясавшихся критиков. За четыре года до того Карлссон и Маннинг грозили Брайану Кейну, что их специалист по мордобитию Том Атанасиу его изуверчит – зав целом хвалебное письмо (так и не напечатанное), где, однако, критиковалось открытое одобрение государства и фабричной системы в статье Атанасиу из первого номера журнала. В ноябре 1984-го, когда «ПМ» наконец выследил, где я работаю и где живу, по обоим адресам мне стали грозить смертью. Для убедительности Атанасиу и «Зоя Ноя» встретили меня на улице и попытались избить.

В сентябре 1984-го Корнфорд и Маннинг пришли на собрание теоретически «анархистского» Коллектива сплетенных книг и стали требовать, чтобы в антиавторитарной тусовке меня объявили вне закона – всего за несколько недель до того, как Карлссон и Маннинг пригрозили СаллиФрай донести на нее в полицию. Ошарашенные и ни к чему не способные парализики позволили парочке излить гнев, но, как обычно, не приняли решения ни за, ни против – позиция («лежа»), которую они занимают и по сей день.

Ворд-процессор «ПМ» испустил «Публичное предупреждение по поводу Боба Блэка» – для того, чтобы изгнать меня со страниц «SFARBull» и отлучить от анархистской тусовки, которую «ПМ» публично и приватно многие годы поливал грязью. Должен сказать, что к тому времени я сам разделял их презрение. Маннинг утверждала, что я по телефону грозил «ПМ» смертью, если они не перестанут звать меня стукачом и досаждают моим знакомым. Поскольку «ПМ» сам выступил в роли «стукача» и сообщил об этом звонке в полицию, я по юридическим причинам ничего не могу сказать – кроме того, что в худшем случае «ПМ» вполне заслужил это своими угрозами и звонками. На самом деле все самые ужасные вещи, в которых меня обвинял «ПМ», они неизменно делали сами, первыми, и обычно в куда более неприятной форме. Я бы никогда не стал использовать друзей и родственников людей из «ПМ» как заложников – так, как они использовали моих. Я бы никогда не сделал того, что «ПМ» совершили в ноябре, в день неудачного покушения возле моего дома: какая-то женщина (Маннинг?) позвонила моим престарелым родителям в Мичиган и лживо сообщила им, что я якобы попал в больницу, – после чего они, пытаясь найти меня, в отчаянии обзвонили все больницы вокруг Сан-Франциско. Моему отцу тогда было 70, в сердце у него вживлен электронный водитель ритма. Они его едва не убили.

Когда в октябре 1984-го я с опозданием узнал, что люди из «ПМ» пытались спровоцировать мой арест, я решил дать им возможность, раз они так любят закон и порядок, померяться силой со своими друзьями в государственных учреждениях. По отношению к государству я придерживаюсь политики «не применять первым»; но государство – это уродливый факт действительности, и я не намерен ограничивать себя, не применяя его против тех, кто применяет его против меня. Отбрасывая весь анархо-пуризм, любая другая политика – всего лишь открытое приглашение государственным чиновникам прийти, сделать все возможные гадости и остаться безнаказанными. Я сам, мои друзья и мои проекты мне дороже любой идеологии – в том числе такой неэффективной, как анархизм.

Без сомнения, абсолютно любое обращение к государству делает его сильнее. Это аргумент весомый, но не окончательный – но той простой причине, что государство не исчерпывает собой все множество правил, ролей, институций и властных структур, служащих принуждению. Я не замечал, что анархист, у которого горит дом, звонил бы пожарным позже, чем любой другой на его месте, – при всем том сожалении, которое у всех нас вызывает тот факт, что добровольные пожарные бригады вытеснены полувоенными профессиональными государственными образованиями людей в форме. Я очень редко употребляю пищу, которую агробизнес не произвел как товар ради собственной выгоды, – но я не собираюсь держать смертельную голодовку, чтобы выразить протест против такого печального положения дел.

Если бы местные «анархисты» (буде таковые найдутся) и анти-авторитаристы из Сан-Франциско решительно выступили, чтобы разоблачить машину «ПМ» и вернуть ее «в рамки», все было бы совсем иначе. Но одни технологически были на крючке у «ПМ», владельца средств производства, а другие не хотели попасть в число преследуемых. Многие только что присоединились к движению, ничего не знали ни об истории «ПМ», ни о его целях, да и знать не хотели; тусовка функционирует как своего рода машина по выработке цинизма, с одного конца засасывает панков-за-мир и прочих идеалистов, с другого конца через несколько месяцев выблевывает большую их часть в окончательно стухшем виде.

К сожалению, обычная реакция тех, на кого нападает «ПМ», – тихо отойти от дел во избежание надругательств (надежда, которая оправдывается не всегда), пока друзья-попутчики по возможности незаметно выбирают из ситуаций, созданных «ПМ», пытаясь не попасть в списки предателей. Они не ищут других таких же, чтобы вместе вычленив общую основу в пережитом и совместно сделать из нее практические выводы. Вот единственная причина, по которой их истерический стахановский активизм – не борьба с Системой, которой они якобы противостоят, но попытка от нее спрятаться. Некоторые виды оппозиционной деятельности требуют куда большей смелости, чем церемониальное попадание под стилизованный арест. Нужны знания, инициатива и честность – качества, почти неизвестные в чересчур стильном городе, где значок с буквой А в кружке – это не более чем необходимое условие для того, чтобы трахаться с кем-нибудь, мало-мальски держащим марку.

Я не идеал, я тоже делаю ошибки, но отошедшие от дел граждане, которые пытаются уравнивать меня с «ПМ», игнорируют (как им отлично известно) несколько обстоятельств. Во-первых (и если это до сих пор не очевидно, то продолжать дальше просто бессмысленно), фундаментальная основа проекта «ПМ» – масштабное вра-

ные в сталинском духе: о его руководителях, о его целях, о совершаемых действиях. Даже по их собственным документам «ПМ» можно уличить во лжи ошеломляющего масштаба. Никто никогда не докажет, что я солгал (сознательно сказал неправду) *хотя бы один раз*, – в то время как «ПМ» нагло громоздит вранье на вранье, другими словами, как я писал в эссе 1983 года, «строит лабиринты уверток». Мы говорим о десятках, сотнях уверток – не о случайных ошибках или оскорблениях, допущенных в пылу спора.

Во-вторых, «ПМ» хочет иметь и отчасти уже имеет какую-то политическую власть, в то время как мое поведение за все семь лет жизни в Сан-Франциско прямо противоречило тому, чтобы я (или кто бы то ни было) имел власть. «ПМ» проникает в политические и коммерческие учреждения буквально справа и слева. Их влияние на медиа проявилось в организованном ими в 1984 году шоу «Ярмарка конца света» – со спонсорами в лице «It's about Times», газеты на деньги квакеров из Союза Абалон, которой они управляют (посредством Корнфорда, Марси Дамовски и Стива Сталлоне из «ПМ»), а также CISPES, Ливерморской группы действия и других леваков. Кроме того, они пользуются эксклюзивным правом редактировать все, к ним относящееся, в стильно-либеральных «Медиа/Файл» и «Ист-бэй экспресс». С другой же стороны, посторонние издания, посягающие на левацко-«антиавторитарную» территорию «ПМ», должны подчиниться или подохнуть. «Без компромиссов» попал под контроль «ПМ» после того, как напечатал статью Кэйтлин Маннинг с одобрением сандинистской диктатуры. Когда в нем в конце концов поместили довольно вялую отповедь Салли Фрай (экс-«ПМ»), в самом «ПМ» не только перестали упоминать «Без компромиссов», но и отозвали оттуда своих агентов (Тома Ветцеля, Чаза Буфе, Криса Винкса), чем реально и задушили журнал.

В-третьих, «ПМ» впервые применил тактические приемы штурмовиков, до того местной тусовке неведомые. На самом деле, угрозы насилем в первый раз прозвучали четыре года назад, когда Брайан Кейн, в конце в целом хвалебного письма в «ПМ», позволил себе покритиковать открыто высказанное Атанасиу одобрение фабричной системы и высоких технологий, напечатанное в первом номере журнала и продолжающееся до сих пор. К большому удивлению Кейна – которым он, к сожалению, не поделился с публикой еще тогда, когда бесчинство можно было бы придавить в зародыше, – Карлссон и Маннинг, используя технику доброго и злого следователя, сказали Кейну, что никак не могут напечатать письмо ради его же собственной безопасности.

Последовали нововведения в виде телефонного хулиганства, приставаний на улице, насылания федеральных агентов с заведомо ложной информацией и преследования в качестве наказания не имеющих никакого отношения к делу третьих лиц (друзей, любимых, родителей), связанных с обвиненными в чем-то работниками «ПМ». До «ПМ» никто не выносил сор за пределы условно-радикального гетто и не пытался очернить врагов – в основном меня – обзывая их, как «ПМ», «местным сумасшедшим» («PCMagazine»), «социопатом» («Медиа/Файл») и источником «злонамеренной» критики («Ист-бэй экспресс»). Источник последнего обвинения – мой ответ на которое не напечатали – это рецензия члена «ПМ» Марси Дарновски на журнал «ПМ», в котором она работала (о чем даже не сочла нужным упомянуть). Дарновски, бывшая любовница Атанасиу, последовала по стопам Маннинг и уеха-

ла в Никарагуа делиться своими компьютерными познаниями с никарагуанским правительством.

В-четвертых, как отмечалось, «ПМ» сделал частью своего арсенала обращение к государству и его правоохранным органам. Поскольку у «ПМ» есть деньги, чтобы платить дорогим адвокатам, и репутация настоящего коммерческого предприятия, позволяющая требовать защиты от полиции, издание в силах заставить ментов и адвокатов работать на себя. На самом-то деле у «ПМ» в Полицейском управлении Сан-Франциско есть по крайней мере один союзник – детектив Джейсон Вечтер, мой старый враг. Этот опер раскопал меня очерняющую грязь – письмо помершего полицейского Гэри Варна – и отдал «ПМ», который теперь ее распространяет. Сила с ними, и они с Силой.

Все прочие медиа «ПМ» обработал невероятно успешно. Все рецензии, кроме «Обмана категории А» – хвалебные и не критичные, какова бы ни была политическая ориентация издания. По сути одна и та же статья появилась в правом «Сан-Франциско экзамайнер», принадлежащем Хёрсту, в леволиберальных «Матер Джонс», «Медиа/Файл» и «Ист-бэй экспресс», в «Сэнтинеле» из Орlando, штат Флорида, в технофильских «PCMagazine» и «Наука для масс» и в «анархистском» «Матче». Все эти коммерческие предприятия держатся вместе. Задабривания, наезды и вранье «ПМ» многие годы заставляли все основные антиавторитарные издания молчать – прежде всего «Пятое сословие» и (не особенно) экс-ленинистов из «Kickitover!». Уж конечно, любая вещь, которую все эти издания одобряют или обходят молчанием, сама по себе подозрительна.

Раз антиавторитаристы не могут навести порядок в собственном доме – надо ждать, что его забросают камнями люди, которые сами не живут в стеклянных домах. Раз антиавторитаристы не могут распознать наглый, бешеный авторитаризм, пока он прикидывается своим, – что же осуждать рядовых граждан, которые не спешат по их команде отменять государство и капитал? Хью Лонг говорил, что фашизм в Соединенных Штатах вполне возможен, если только он называется как-то еще. Кое-кто из антиавторитаристов берет в товарищи бизнесменов-чернорубашечников – пусть только выговорят магическое слово «антиавторитаризм» и совершат ритуальное поклонение признанным идолам. Ты можешь попасть в утку – но не рассчитывай, что тебе заплатят обещанные сто долларов. Болезнь идеологов – принимать слова за реальность: ошибка, лежащая в основе возвышения «ПМ». Теперь не только есть «Без компромиссов», теперь мы живем действительно без компромиссов. Домовладельцы, призывающие чуму на оба ваши дома, сами заражены. Отошедшие от дел служат ментам. Если движение не сможет очистить себя от шаек вроде «ПМ», в нем останутся только дураки – которых в нем и так слишком много.

Предисловие к «Праву на жадность»

Либертарианец обычно думает, что он в том или ином смысле эгоист. Если он верит в права человека, то верит, что эти права положены ему как индивиду. Если нет – то все равно воспринимает себя и других как группу индивидов, имеющих достаточно сил, чтобы с ними считались. В любом случае, противоположностью эгоизму он полагает альтруизм. Альтруисты согласны – и христиане, и поклонники Мао. Положение удобное – и, утверждаю я, подозрительное. Что, если эта антагонистическая взаимозависимость, это обоюдная основополагающая потребность отражает и маскирует согласие? Может ли быть так, что эгоизм – *лояльная оппозиция* альтруизму?

Да, говорят авторы этого текста. Больше того: они утверждают, что эгоизм, полностью себя осознавший и отбросивший все препятствия к собственной реализации, представляет собой *коммунизм*. Они презирают и альтруизм, и узкий эгоизм, эгоцентризм – как две разновидности морализма, дополняющие друг друга и конкурирующие между собой на службе государства и капитала. Они призывают нас к щедрой, не знающей границ жадности, оставляющей позади самопожертвование и мелочное себялюбие, которое включает в себя присвоение всего и всех всеми и каждым из нас. «Богатство – это другие», – писал Раскин. Радикально и вполне рационально осознавая это, эгоист обогащает себя в других и посредством других. Лучшее, наиболее удовлетворяющее в общественной жизни – секс, разговор, творчество – объединяет «отдать» и «получить» в единую игровую деятельность, богатую положительной обратной связью. Для ясно мыслящего эгоиста попросту *мало* любой вещи, не дотягивающей до эгоизма обобщенного.

Индивидуалист всего лишь молится на свои капризы. Идея в том, чтобы ими жить.

Не обман ли это, не салонная ли это шутка? Намеки на это, безусловно, присутствуют. Может быть, это просто путаное упражнение в совершенно несообразной эклектике? Эгоист-индивидуалист, разумеется, будет настроен скептически, но ему не следует сходу *лишать себя* того умного (и занимательного), что можно найти в этой уникальной атаке на очевидные для него истины. Противоречия бьют в глаза, однако совсем не просто сказать, вызваны они иррациональностью авторов или их верностью реальной жизни. Если и вправду можно представить себе «марксизм-штирнеризм», то под вопросом оказывается любая из ортодоксальных идеологий, без конца поминающих свободу или освобождение – включая анархизм. Полемическое выступление полезно практически или бесполезно вообще. Единственное, ради чего стоит читать эту книгу – и авторы первыми согласятся с этим, – это то, что вы из нее можете почерпнуть.

Способ рассуждения, принятый в книге, может показаться необычным – по крайней мере для тех, кто не знаком с гегельянским марксизмом, «критической теорией» и последними французскими модами в авангардном дискурсе. Но он вполне в тради-

ции тех (в основном европейских) оппозиционных течений, которые – как дадаизм и сюрреализм – пытались совмещать иконоборство политическое и культурное. В конце 1950-х годов основанная во Франции международная организация под названием Ситуационистский Интернационал возобновила этот проект, причем крайне продуманно и радикально. Ситуационисты указали на то, как «спектакль» современного капитализма (включая ленинистские разновидности), организация видимости, вставляет себя как барьер между изолированными и доведенными до невроза индивидами и миром, который они своей деятельностью производят, но не могут ни контролировать, ни даже понимать. Непосредственный опыт заменяется опосредованным, расщепление обыденной жизни на множество стандартизованных, заранее произведенных *ролей* создает индивидов, снабженных блестящим набором навязанных «вариантов выбора», но лишенных реальной автономии, поскольку утрачена инициатива и желание строить свою собственную жизнь. В политике ситуационисты горячо осуждали признанных левых, но, приняв коммунизм рабочих советов, сами сместились в сторону ультралевых. С одной стороны, призыв к отмене работы (к преобразованию ее в продуктивное игровое времяпрепровождение), а с другой стороны, к советам рабочих – вот только одно из тех противоречий, которые ситуационисты не смогли разрешить. Всеобщая забастовка во Франции в 1968 году подтвердила тезис ситуационистов о том, что общество изобилия всего лишь модернизировало бедность, – и даже придала широкую известность некоторым ситуационистским лозунгам. Но Ситуационистский Интернационал не знал, что делать дальше, и в 1971 году распался.

С тех самых пор ситуационистские идеи – и позы – просачиваются в поп-культуру, а менеджер «Секс пистолз» Малькольм Макларен был, по-видимому, первым, кто стал продавать денатурированный ситуационизм модным кругам. В начале 1970-х группы «про-ситу» (так они назывались) появились в Лондоне, в Нью-Йорке и особенно – в окрестностях Сан-Франциско. Одна из этих групп, «Отрицание», в 1973 году пересобралась под названием «Для себя», и к следующему Первому мая произвела обсуждаемый текст. «Для себя» особенно обязаны были ситуационисту Раулю Ванейгему – чье восхваление «радикальной субъективности» «хозяев без рабов» играет важную роль в теории, изложенной в «Праве на жадность». Группа распалась слишком скоро, причем многие ее члены деградировали и вернулись к тому марксизму, от которого так до конца и не смогли отойти.

Текст одновременно и слишком марксистский, и совершенно лишен всякого понимания того, насколько он с марксизмом несовместим. Слишком марксистский потому, что поддерживает иллюзию человека как производителя по сути, а в качестве структурной основы нового свободного общества предлагает «демократически» планируемую экономику на основе советов. Кроме того, влюбленность в марксизм приводит к попытке совместить коммунистический эгоизм и марксистские Писания, попытке скорее изощренной, чем убедительной, – хотя, возможно, она и вправду показывает, что Маркс был куда радикальнее, чем осознавал сам. Жаль, что «Для себя» не попытались омарксить Штирнера так же, как они штирнеризуют Маркса; возможно, нам тогда легче было бы понять, на каком уровне допустима попытка привести к гармонии двух великих революционеров-аморалистов.

Эгоизм в его узком смысле – не тактика, а тавтология. Подростки всех возрастов, триумфально возвещающие, что «все думают только о себе», полагают, что открыли подлинное устройство мира, но на самом деле просто показывают, что не знают, о чем говорят. *Практикующий* эгоизм требует большего; он должен сообщать эгоисту что-то полезное о нем самом и о других, что-то, что изменит его жизнь (а заодно и их жизнь). Мои желания, потребности, причуды, капризы (называй, как хочешь) расширяют мое эго, мое деятельное и целенаправленное «я» – туда, где меня ждут другие «я». Иметь с ними дело, как учат экономисты, только «на расстоянии вытянутой руки» – это недостаточно близко для многого из того, что я имею в виду. В любом случае, никаких «призраков», никакой идеологии на моем пути быть не должно. Или ты строишь планы, или планы строят тебя.

Оглядываясь на «Покидая двадцатый век» – реализация и подавление ситуационизма

В наше время под каждой фразой должна стоять дата.

Александр Троци

«Ситуационисты, чьими судьями вы себя воображаете, когда-нибудь будут судить вас. Мы ждем вас за поворотом». На этой неопределенно-угрожающей ноте Морис Вайкет, представитель Ситуационистского Интернационала, завершил свою проповедь в лондонском Институте современного искусства. Дело было в 1961 году. Кто-то в аудитории, удивленный (а может, мент?), спросил, что такое, собственно, этот ситуационизм. Ги Дебор встал, сказал по-французски: «Мы здесь не для того, чтобы отвечать на сучьи вопросы», и ситуационисты покинули зал. В опубликованной через несколько лет рекламной брошюре ИСИ событие описано как «конференция, где председательствующий был глух, главный докладчик не говорил по-английски, а участники встречи впоследствии отрицали, что она вообще была». (На самом деле, они отрицали только то, что была ее тема: с точки зрения ситуационистов, «ситуационизм» – это бессмысленный термин, введенный антиситуационистами.) Как мы увидим, по прошествии времени ИСИ отомстил.

Ситуационистский Интернационал (1957-1972) – это международное, хотя и действовавшее в Париже образование, которое воскресило традицию авангарда-с большим умом и крайней непримиримостью. Сейчас СИ лучше всего известен своей левой политикой, но создали его художники, объединив две крохотные организации – Леттристский Интернационал (с участием кинорежиссера Ги Дебора и его жены Мишель Бернстин, художницы, делающей коллажи) и Международное движение за имажинистский баухаус (включающее художников Асгера Йорна и Джузеппе Пино-Галлицио). МДИБ, выступившее против функционализма под лозунгом форма подчинена удовольствию, собрало художников распавшейся группы КОБРА. Один из них, живописец-урбанист Констант, вскоре обучил членов СИ унитарному урбанизму, «теории параллельного использования искусств и технологии для создания цельной среды, динамически связанной с экспериментами в области поведения».

Хотя внешне СИ всегда был монолитен, он пережил несколько расколов, а из 70 человек, которые в то или иное время считались его членами, 45 были «исключены». Фундаментальное противоречие более или менее отвечало изначальному разделению на Леттристский Интернационал и МДИБ-КОБРА – противоречие между эстетиками и политтеоретиками. Первые были в основном немцы: Йорн, Констант, группа «Spig» – с важным исключением в лице Пино-Галлицио. Вторые – франко-итальянцы, а руководил ими Ги Дебор.

Эстеты, верные программе унитарного урбанизма, призывали к демократизированному искусству, к воссоединению и обобщению высокой культуры и культуры масс и к эстетическому взрыву, который преобразует город в нечто, радующее взгляд. По этой причине они интересовались городским планированием и архитектурой, хотя, кажется, ни в той, ни в Другой области ничего заметного не совершили. Политики – по формулировке Рауля Ванейгема, первого не-художника, занявшего в СИ важное место – требовали «реализации и подавления искусства», революции обыденной жизни.

Обе стороны отрицали искусство, понятое как специализированное ведомство для привилегированных творцов или как производство потребительского товара. Все ситуационисты были против капитализма. Но эстеты хотели все стороны жизни наполнить искусством, в то время как политики хотели преобразовывать взаимоотношения в обществе напрямую – не просто оживлять их с помощью всесторонней, качественно новой программы социального программирования. Как говорил Мустафа Хайяти (алжирский ситуационист и, возможно, самый понятный из всех полемистов СИ), «лозунг реализации искусства – поэтика ситуационизма – значит, что нельзя реализовать себя в «работе»; можно просто реализовать себя, и точка». На могиле искусства возникает искусство жить.

Не то чтобы я хотел задать сучий вопрос, но – а в чем разница? Странники и той, и другой стороны так и не построили то, что Констант называл «другой город для другой жизни»; иначе реальные условия и возможности оказались бы важнее абстрактных идей. Но в предреволюционном здесь-и-сейчас соперничавшие ориентации действительно вели к различным практическим выводам.

В 1961 году, на Пятой конференции СИ в Швеции соперничавшие тенденции пришли к открытому столкновению. Политики только что увлеклись изучением истории революционных рабочих движений и подняли на знамя коммунизм рабочих советов, пропагандируемый журналом «Социализм или варварство». Эстеты не столько возражали против возобновления пролетарской борьбы, сколько сомневались в ее успехе посреди соглашательского процветания начала 60-х. Взамен они предлагали сосредоточить усилия там, где они уже оказывали какое-то действие – а именно в мире искусства. В ответ политики заявили, что эстеты – например, немцы из «Spur» – проспали зарождающееся недовольство в собственном доме, не говоря уж о разнообразных эпизодах: от студенческих демонстраций «Дзенгакурэн» в Японии до восстания в Катанге на территории Конго. Все это, оптимистично (и ошибочно) предполагали они, имеет неявное революционное содержание. Политики заклеили эстетов, обозвав их «сутенерами от культуры». Эстеты ответили политикам, что «ваши теории вернутся и ударят вас по морде». Не исключено, что правы оказались и те, и те.

В 1962 году из СИ исключили немцев и «нашистов» (Йорген Наш и другие скандинавы); Йорн к тому времени ушел сам. Ситуационисты окончательно превратились в политиков и оставались таковыми все свое последнее десятилетие. Дебор не снимал фильмов вплоть до самого распада СИ. Ситуационистское искусство – коллажи, комиксы, переделки чужих работ – превратилось в чистую пропаганду. Бернстин сделала серию коллажей – среди прочего, «Победа Парижской Коммуны» и «Победа рабочих советов в Будапеште» – но все эти работы, к несчастью, погибли, когда в

1965 году кто-то сжег штаб ситуационистов в Дании. Немцы основали собственный Второй Ситуационистский Интернационал, который выпускал в Амстердаме «SituationistTimes» и долгое время оказывал влияние на скандинавское искусство.

Хотя ситуационисты и хвастались, что предприняли «лучшую из сделанных попытку покинуть XX век», они так и не перепрыгнули через барьер. Старый соперник, лондонский ИСИ, вместе с сообщниками пару лет назад успешно вернул ситуационистов в камеру, в тот мир, из которого они пытались бежать. Их работы успешно выставлялись в трех престижных и модных авангардных салонах. Выставка «О путешествии нескольких человек через довольно короткий момент времени» – названная в честь фильма Ги Дебора, который он не разрешает показывать, – в 1989-1990 годах прошла сначала в парижском Национальном музее современного искусства (центре Жоржа Помпиду), затем в лондонском ИСИ, а оттуда перебралась в бостонский ИСИ, где я ее и посмотрел. Как деликатно сказано в каталоге, экспозиция потребовала «уникальных музеелогических решений» – так же, как останки нилота затонувшего НЛО, которые потребуют «уникальных погребальных решений» от похоронной конторы.

Ни одно из авангардных течений не пыталось вырваться из лап музейных кураторов отчаянней, чем ситуационизм, представители которого прекрасно понимали, что стоит на кону – даже в самой начальной фазе своего проникновения в мир искусств. Они видели, что предшествовавшие явления – футуризм, дадаизм, сюрреализм, леттризм – успешно, выражаясь их языком, приведены в норму, то есть вобраны в себя существующим порядком, каковой порядок проявлялся как спектакль, «организация видимостей». Искусство – уже состоящее из образов – привести в норму легче всего: достаточно не обращать на него внимания, а если это не работает, то купить. Как заявил Ванейгем после победы над эстетам, СИ «работал не на спектакль конца мира, но на конец мира спектаклей».

Поэтому ситуационисты вставляли в свои творения защитные механизмы. Фетишистское отношение Дебора и Вайкета к слову, «ситуационизм» на встрече в ИСИ – скорее всего, просто часть ловушки для слушателей; тем не менее, ситуационистские тексты регулярно, как амулет против приведения в норму, нападали на части речи – занудный и в то же время наивный формализм. Текстуально-графический «Мемуар», совместное творение Йорна и Дебора, судя по всему, как всегда пьяных, переплетен в обложку из наждачной бумаги – чтобы досадить библиотекарю или библиофилу, который осмелится отнести к нему как к обычной книге и поставить на полку. В приступе бездумного подражательства ИСИ тоже переплел один из двух своих салонных альбомов в наждачную бумагу, любезно предоставленную 000 «Английские абразивы и химикаты». Но все, что было абразивного в «Мемуаре» и внутри, и снаружи, полностью сглажено ИСИ, который поместил его, вместе с другими образцами ситуационистского книгопечатания, под стекло.

Точно так же «индустриальная живопись» Пино-Галлицио, выпускавшаяся в рулонах и продававшаяся на метры, высмеивала массовое производство. Остаток одного из рулонов, выставленный ИСИ, длиной 145 метров. Идея была в том, чтобы лишить искусство ценности, производя его в огромных количествах. Но даже в 50-е победил хитрый рынок: после того, как художник безо всяких обоснований взвинтил цену

на свои приукрашенные обои, спрос *увеличился*. В конце концов, все, за что берут столько денег, наверняка того стоит.

Естественно, из планов Пино-Галлицио обернуть в индустриальную живопись целые города ничего не вышло. Высшее достижение – «Пещера Антиматерии», едва освещенная, но целиком задрапированная комната. Ее бледная копия, выставленная в бостонском ИСИ, мне понравилась – ведь только там можно было избежать постоянного наблюдения выставочных служителей. Потому что среди прочего на выставке было несколько «модификаций» Асгера Йорна: китчевые полотна неизвестных художников, которые он «дописал» разной фантазмагорией. И чего ИСИ точно не хотел, так это чтобы кто-то возомнил о себе и стал вести себя, как ситуационист – например, дописал дописанное.

Тщета всех ситуационистских уловок напоминает пересказанную Светонием историю о враге Цезаря, который, чтобы приобрести иммунитет, постепенно принимал все возрастающие дозы яда. Услыхав об этом, император рассмеялся и сказал: «Против Цезарянет противоядия!»

Что бы ни говорили о выставке и о выпущенных к ней альбомах, она успешно исправляет ту самодовольную версию истории СИ, которую правящая политическая фракция распространяла начиная с 1964 года и которая потом повторялась почти во всех текстах о СИ, опубликованных по-английски. Вызванное этой выставкой негодование можно объяснить тревогой:

СИ, который хвастался тем, что и мейнстрим, и левые внесли его в черные списки, теперь переводят, интерпретируют и выставляют люди, которые даже не претендуют на то, чтобы разделять его идеологию. Ральф Рамни, один из основателей СИ, быстро из него исключенный, жаловался, как СИ «присвоил историю», переписал ее, возвеличив себя. Чтобы разъяснить ситуацию с модой на ситуационизм, представленной и продолженной выставкой в ИСИ, надо уделить немного внимания истории «ситуационизма» в Англии и в Америке.

Хотя из горстки, основавшей СИ, один, Ральф Рамни, был из Англии, англоязычные члены Интернационала теряли расположение парижского центра управления даже легче, чем все остальные. Рамни быстро выгнали. Шотландец Александр Трочи в 1964 году ушел сам. Английское отделение выгнали в 1967 году целиком и полностью – из-за недостаточно решительной поддержки Парижа, разорвавшего отношения с несколькими американцами за то, что те осмелились изложить «мистическую» интерпретацию «Революции обыденной жизни» самому Ванейгему. Англичане создали Кинг моб, Королевскую толпу или Королевскую мафию, в которой среди прочих участвовал МалькольмМакларен, будущий менеджер «Секс пистолз». Американцы, сконцентрированные в Нью-Йорке, сварили амальгаму из ситуационизма и хиппи под названием «TheMotherfuckers».

Впоследствии американец Джон Горелик и голландец Тони Верлаан опять-таки в Нью-Йорке организовали Американское отделение СИ. Именно «схизма» американцев в 1971 году – после чего в СИ осталось только *четыре* члена-европейца, один из которых проживал в дурдоме на территории Восточной Европы, – убедила Дебора в том, что СИ пора распустить. К тому времени несколько текстов СИ и текстов последователей ситуационистов (которых СИ презрительно называл «про-ситу») получили определенное хождение в Англии и в Соединенных Штатах. Слишком малое,

чтобы оказать влияние на «новую левую», и слишком поздно. Жаль. «Новым левым» нужна была научно строгая и антиавторитарная теория, но они (весьма разумно) обходили стороной анархизм из-за его интеллектуального бессилия и заигрывали с ретроградно-ленинистскими версиями марксизма, отрезав тем самым радикалов от (до сих недооцениваемых) источников народной поддержки.

С разложением СИ в Нью-Йорке и Сан-Франциско стали возникать группы про-ситу с названиями вроде «Отрицание», «Прямой наводкой», «Противоречие», «Министерство общественных тайн», а следом, в других местах, совсем уже не ситуационистские группки «Итог», «Аврора», «ТампаНарциссус» – и все они, сами того не желая, привили ситуационизм в некоторой степени ожившему в 70-х годах американскому анархизму. Детройтская группа «Черное и красное» ФреддиПерлмана перевела и опубликовала книгу Дебора вместе с другими ситуационистскими текстами, а после 1975 года старая подпольная газета «Пятое сословие» встала на анархо-ситуационистские позиции – что, увы, сейчас выродилось в какой-то экореформистский природопоклоннический культ.

В 1974 году изгнанный английский ситуационист Кристофер Грей выпустил антологию переводов из СИ под названием «Покидая двадцатый век» (до другого берега океана дошло лишь несколько ее копий). Перевод книги Ванейгема появился в 1979 году, в 1983 году вышла авторизованная англо-американская версия. В 1981 году про-ситу Кен Набб (единственный член «Министерства общественных тайн») напечатал на свои деньги «Антологию Ситуационистского Интернационала», содержащую примерно треть от всех материалов журнала СИ и других текстов. Через несколько месяцев рок-критик ГрейлМаркус, обученный про-ситу Томом Вордом, нарушил заговор молчания в американских СМИ, напечатав статью о ситуационизме в «Виллиджвойс». Как продолжение, в 1989 году Маркус опубликовал книгу «Следы помады» (некритичный и неорганизованный, но довольно информативный рассказ о ситуационизме, панк-роке и т.д.), вышедшую в свет, что занятно, в издательстве Гарвардского университета.

Что не так с этим скоплением текстов, так это то, что они и были только текстами. Ни о художественном происхождении СИ, ни об эстетической деятельности его в ранний период никто не знал. Деборовцы сознательно скрывали собственные художественные корни, чтобы лучше представить себя политтеоретиками, – и потому ситуационизм именно как политика начиная с середины 70-х привлек небольшое, но постоянно растущее число американцев и англичан. Немцы из Второго СИ, не пожелавшие скрывать свои художественные устремления, в англоязычном мире услышаны не были – хотя их скандалы на фоне деборовских смотрятся лучше. Констант вместе с несколькими анархистами основал в Амстердаме движение Провос (1965-1967), тем самым доказав, что ситуационисты могут разжечь огонь в брюхе контркультуры. Немцев из «Sprig» судили за порнографию. Один из них, ДитерКунцельман, организовал в Берлине Коммуну I, с которой началось движение хиппи в обеих частях Германии и где сформировались несколько террористов «Движения 2 июня». Голландская «SituationistTimes» Жаклин де Йонг – с меньшим количеством текстов, чем в журнале СИ, и с большим количеством графики – предвосхищала стиль фэнзинов конца 70-х и 80-х.

В Англии же те, кого исключили из СИ, создали Кинг моб, нацеленную на студентов художественных школ. Один из ветеранов, Джейми Рид, создал оформление для антологии СИ Кристофера Грея, но Рид оказал куда большее влияние на эстетику панка, поскольку был связан с «Секс пистолз». Грея ругали за небрежные переводы и поверхностные комментарии, но в главном его антология лучше наббовской: в ней достаточно комиксов и рисунков, воссоздающих исходный внешний вид журнала СИ. Потому что даже после деборовской консолидации произведения ситуационистов отражали эстетику и интегрированный формат, практиковавшийся художниками КОБРА и МДИБ. Большинство английских изданий ситуационистских текстов и текстов, близких к ним, открыто склонялось к подавлению искусства, не к его реализации – тем самым приуменьшая изначальный холизм и, возможно, укрепляя расхожее мнение о сухости ситуационистских теорий.

Несколько позже Рид предоставил свой коллажный стиль – смесь газетных текстов и вырезок – в распоряжение Малькольма Макларена, другого ветерана Кинг моб. Маклареновский менеджмент группы «Секс пистолз» – что уж говорить о ее сотворении – подозрительно похож на циничный эксперимент по ситуационистскому социальному манипулированию. Некоторые рисунки, украшавшие альбомы «Секс пистолз» (и жадно разыскиваемые сегодняшними коллекционерами), Рид до того печатал в журналах про-ситу.

Панковское тотальное отрицание прошло через ситуационистскую призму (хотя в то время немногие это понимали). К счастью, программные тонкости вроде коммунизма рабочих советов по пути отпали. К концу 70-х взрыв панка в Англии включал в себя и взрыв фэнзинов. Выпускать фэнзин было даже проще, и это допускало еще больше участия, чем сочинение панковской музыки – дело не особенно сложное. Немалая часть тысяч фэнзинов, вышедших за последние пятнадцать лет, выглядит как грязная копия журналов СИ, а в некоторых из них ситуационистские идеи обсуждались задолго до того, как про них услышал Грейл Маркус. Просмотрев каждую страницу каждого выпуска журнала СИ (бостонский ИСИ их аккуратно подшил), я могу утверждать, что лучшие из коллажей СИ заметно хуже произведений таких маргинальных авторов, как Джеймс Конлайн, Эд Лоренс, Джо Швинд, Фредди Бэр и Миккель Жан. Почему под стеклом рядом с почтенными останками не представлен ни один североамериканский фэнзин, плакат, открытка, таблоид – притом что демонстрируется бесцветное постмодернистское искусство граждан вроде НАТО и «Искусство атр;Язык», где нет или почти нет ситуационистских мотивов?

Скорее всего, потому, что маргинальное искусство – не останки (пока). В искусстве этого типа копия является оригиналом. Поэтому для музеологов, чья унылая наука основана, как экономика, на нехватке, потенциально бесконечное размножение оригиналов перевешивает нынешние маленькие тиражи. Пино-Галлицио все-таки был прав; просто материальные условия для массового производства и распределения искусства тогда еще не созрели. Преодоление искусства – так же, как преодоление работы – достигается не унитарным урбанизмом и не рабочими советами, но повсеместным введением дара – этого универсального растворителя всех отчуждений. Здесь практика СИ в кои-то веки опередила его теорию. Глянцевые журналы СИ стоили недорого; в мае-июне 1968 года ситуационисты (причем оба

Интернационала) произвели, как бесплатный подарок пролетариату, сотни тысяч плакатов и брошюр.

Ситуационисты – особенно дебористы – были хронически больны импутационизмом, приписыванием различным явлениям не присущего им содержания, иными словами, красивыми мечтаниями под маской критической теории. СИ постоянно обнаруживал подсознательный ситуационизм в деяниях бунтовщиков района Уоттс, шведских хулиганов, сепаратистов Катанги, даже студентов Беркли. Не надо быть ситуационистом, чтобы знать, что внешность обманчива (хотя для ситуациониста это проще). Спектакль безупречно бесстрастен только на первый взгляд. Соблазн элитизма, как и соблазн оптимизма, неотразим: искать в чужих гнездах собственные любимые яйца – это снобизм. А что, если кто-то отлично знает, что он делает, и это, извините, спасибо, не есть ситуационизм? Ситуационисты сами стали играть спектакль, что их и погубило. В конце концов, они приняли желаемое за действительное. Психиатры называют это навязчивыми идеями.

Но с другой стороны: а что, если, как утверждает АртКлепс, навязчивые идеи – это самое оно? В своей недавно вышедшей книге Дебор хвастливо говорит, что история его оправдала. Возможно, спектакль, квинтэссенция видимости, сейчас заметнее, чем когда бы то ни было. (В универмаге для каждого найдется своя полка.) В воздухе носится что-то ситуационистское, из-за чего теория сейчас понятна как никогда, хотя также понятно, какие из ее частей устарели. Когда антиситуационисты вроде Майка Гундерлоя и Фреда Вудворта хвастаются, что не могут понять ситуационизм, их читатель чаще всего приходит к выводу, что он умнее этих самодовольных незнаек. Для ошеломленного зрителя последнего из недавних сериалов – войны в Ираке – сам спектакль значит куда больше, чем все старые анархистские штампы. И тем самым проясняет то, что проясняет его.

С 1972 года ситуационизм, не принадлежащий ни одной организации, доступен для разных применений, в том числе сомнительных. Панки тащили из него сублиминальные лозунги для своих пластинок. Музеологи его курировали. Академические марксисты из «Телос» разъясняли его, как и философию Франкфуртской школы – столь же безвредную, как они сами. Шлюхипро-ситу вроде Тома Ворда торговали своим с ним знакомством. Ветераны СИ ностальгически вспоминали его – но только те, кто был исключен. Анархисты либо очерняли его, либо заимствовали его идеи. Пижоны поздравляли друг друга с тем, что про него слышали. Возможно, где-то далеко рабочие приняли его на вооружение – но это не более чем гипотеза. Контора закрыта, все разошлись – но разошлись по всей территории. Ситуационизм мертв. Да здравствует ситуационизм!

Культура нападения

Рецензия на: Стюарт Хоум. *Нападение на культуру: Утопические течения от лет-тризма до «Классовой борьбы»*. Лондон: Aporia Press amp; Unpopular books, 1988.

Стюарт Хоум – «Карен Элиот» (и другие) из лондонского журнала «Улыбайся!» (и других) – запечатлел путешествие нескольких человек сквозь довольно короткий отрезок времени. Но тема его небольшой книги – все что угодно, только не утопические течения. Такие утопические течения, как анархизм и нью-эйдж, описаны мало или не описаны вообще; в то же время Хоум отводит место художественным движениям с минимальным политическим содержанием, вроде флюксуса или мейл-арта. Предпочтения автора, какие авангардные течения с 1940-х годов и до наших дней *включать* в книгу, а какие – *нет*, столь же произвольны, как его использование *курсива*. Хоум как бы намекает, что все включенные группы похожи друг на друга тем, как они совмещают (или путают) экспериментальное искусство и авангардную политику. Этим они действительно похожи, но не только друг на друга. Тайна избирательности Хоума в том, что он пишет с позиции человека, «ангажированного» описываемой традицией (и более того, пишет в основном для участвующих в ней). Но Хоум, в те времена молодой человек 27 лет, застал только два течения – панк и неоизм. Ограниченный слева собственной неполной и по сути *эстетической* перспективой, а справа – межпартийными вендеттами, в которые он вовлечен, Хоум – судя по стилю, слишком быстро – состряпал всего-навсего мелочный памфлет, совершенно недостаточный для обсуждаемой темы.

«Утопическая традиция, – пишет Хоум, – стремилась свести воедино все виды человеческой деятельности». Но его рассказ начинается не с признанных утопистов – Оуэна, Фурье, Беллами, Морриса – а с футуристов и дадаистов. Может быть, на этом хорошо было бы и закончить, поскольку, как говорит Хоум, описываемые им последователи не особенно развили традицию. Через сюрреализм, «бретоновское оледенение», Хоум быстренько пробегает, хотя большинство более поздних течений продолжали сюрреализм или спорили с ним. Традиция по определению непрерывна. Даже если сюрреалисты исказили ее, флиртуя с мистикой и оккультизмом, «оледенение», в конце концов – один из способов что-либо сохранить.

Но подход Хоума к сюрреалистам – типично поверхностный и нечестный. Настоящие мистики сюрреализма вроде Арто быстро отошли от движения именно из-за его оптимизма, активности и упора на интеллект. Хоум или не знает, или не считает нужным сказать, что, как постоянно объяснял Андре Бретон, сюрреалисты использовали спиритические сеансы и прочие *техники* вызова бессознательного вовсе не потому, что верили в духов.

Хоум ни разу не озвучивает более серьезный аргумент против сюрреалистов – их злополучный экскурс в политику в рядах коммунистической партии, от которого многие (Арагон, Элюар, Тцара) так никогда и не оправались. Но Хоум вообще

игнорирует исторический контекст. Последователи и критики, такие, как ситуационисты, понимали, что грубая ошибка сюрреалистов – увлечение коммунизмом в то время, когда Сталин превращал его в совершенный инструмент консолидации консерватизма, – была сделана во враждебном культурном климате, в поисках ответа на растущую угрозу фашизма, с которым они были знакомы на собственном опыте. (Французские фашисты добились запрета на «Золотой век» Бунюэля-Дали.) Классическое рабочее движение съезжилось до нескольких анархистских или ориентированных на советы крошечных групп, а затем было окончательно искоренено в ходе испанской революции. Отрезанные сталинистской культурной полицией от связи со следующими за ними политическими течениями, сюрреалисты вопреки собственной воле оказались сведены до положения всего лишь художников.

К середине 40-х сюрреалисты по крайней мере поняли, что на самом деле представляет собой сталинизм. Но не их бельгийский коллега Кристиан Дотремман, который, по словам Хоума, отошел от них «из-за разногласий по поводу мистицизма и Коммунистической партии». Иными словами, Дотремман, с молчаливого одобрения Хоума, продолжал упорствовать в своем сталинизме, даже помогая создавать движение КОБРА – с которого Хоум, собственно, и начинает свой рассказ. Конечно, через несколько лет Дотремман перерос сталинскую лагерную утопию, но только из-за привязанной к ней навязчиво-ретроградной культурной «линии», социалистического реализма – к этому времени очень старой и очень дурной новости. Ничто не указывает на то, что Дотремман или Хоум видят в бюрократическом государственном социализме что-то неправильное, не считая неудачной культурной политики. Единственное дальнейшее указание на политическую ориентацию Хоума – это то, что он использует, по его словам, «материалистическое» определение искусства (искусство есть высокая (не популярная) культура, превращенная в товар), списанное у вульгарного марксиста Ричарда М. Тейлора.

КОБРА (названная по своим главным центрам – Копенгаген, Брюссель, Амстердам) требовала, чтобы совместно изобретаемое «народное искусство» заняло в обыденной жизни главное место. Словосочетание «обыденная жизнь» Дотремман заимствовал у французского социолога Анри Лефевра, от которого оно позже перешло к ситуационистам. Кроме Дотреммана, главные фигуры – датчанин Асгер Йорн и голландец Констант; впоследствии, пройдя через сходную организацию Международное движение за имажинистский баухаус (МДИБ), оба попали в Ситуационистский Интернационал. Несмотря на манифесты, искусство КОБРА совершенно не было общедоступным. Члены КОБРА, как и большинство их последователей, совмещали экзотерическую теорию с эзотерической практикой.

Примерно в то же время парижские леттристы Исидора Иссу подняли другой эдипов бунт против несчастных сюрреалистов, которые как раз вернулись из эмиграции и из-за этого стали объектом нападок почти для всех – сталинистов, экзистенциалистов, кого угодно. Как говорит Хоум, леттризм Исидора Иссу – каша из старого доброго дадаизма, запутанных социальных теорий (мне кажется, с приправой из Сен-Симона) и мегаломании. Но отколовшийся Леттристский Интернационал (с Ги Дебором в главной роли) в 1957 году объединился с МДИБ, положив начало Ситуационистскому Интернационалу.

Судя по всему, СИ – главный предмет книги Хоума и одновременно главная цель нападения. Хоум, по его собственному заявлению, был намерен писать об утопистах, которые хотели объединить все виды человеческой деятельности. Непонятно, почему он проявляет враждебность к тем, кто такую цель открыто перед собой ставил (леттристы, ситуационисты), и симпатию к тем, кто этого не делал (флюксус, мейл-арт, неоизм). Несмотря на весь свой марксистский материализм, автор понимает авангардные склоки как-то «недиалектически» – как схватку между добрыми эстетиками и злыми политиками. Как отмечалось, сам он происходит из эстетов, хоть и пытается с помощью ловких определений очистить свои любимые специализированные формы творчества от обвинений в «искусстве». Моцарт – это искусство, говорит он, а «SlaughterandtheDogs» – нет, потому что Моцарт относится к высокой культуре, а «Slaughter» – к низкой. И неважно, что, пусть не «Slaughter», но другие панк-группы продаются лучше, чем Моцарт. «Материалисту» следовало бы взглянуть на цифры продаж, но Хоум с помощью словесных игр выкидывает из списка очерняемого своих друзей из рок-индустрии.

Хоум утверждает, что его цель – представить ту информацию, которой нет, и развеять мифы там, где *традиция* искажена. Первое, в определенных пределах, ему удалось. Он пересказал то, что практикующие традицию (и следящие за ней со стороны) хотели бы знать, даже если кое-что из этого – явные сплетни. Что же до второго, то претензии Хоума на роль критика просто смешны. Само собой, вокруг Ситуационистского Интернационала сложился миф, который пора бы развеять. Но Хоум лишь мутит воду – и без того мутную, хотя и неглубокую. Престиж ситуационистов растет, и их пора бы немного разоблачить – но не так, как это делает Хоум.

Во время, которое Хоум издевательски называет «героическим» периодом СИ, влияние нехороших деборовцев хотя и росло, но было ограничено и сдержано художниками из КОБРА/МДИБ, определявшими повестку дня. Констант ввел понятие «унитарного урбанизма» – искусства и архитектуры, соединенных в систему городского планирования, нацеленную на создание окружений. Он представлял себе «крытый город», где все-от уличного освещения до интерьеров – могло меняться по малейшему желанию жителей, «дрейфующих» с места на место. Первое, как отмечает Хоум, неприятно напоминает британские Новые Города и шоппинг-центры. Второе – стандарт в современных офисах, где разгороженные стенками «рабочие места» изменяют в зависимости от нужд начальства, а не по желанию самих работников. Это, кажется, железный закон утопизма – утопия, не реализованная целиком, передает будущему только самые неприятные свои черты. Точно так же из «Взгляда назад» Эдварда Беллами нам достался всего лишь придуманный им термин *кредитная карта*.

Однако эта сторона ситуационизма Хоуму наиболее симпатична. Через несколько лет после основания СИ Констант и Йорн из Интернационала вышли, а многие их последователи были «исключены» – процесс, который глубочайшим образом интригует Хоума и других критиков СИ, хотя ни он, ни СИ почти никогда не приводят достаточно информации, чтобы понять, насколько эти исключения были оправданы. Так или иначе, к 1963 году деборовская фракция – к которой к тому времени присоединился Рауль Ванейгем – решительно переориентировала всю группу на политику. Как политическую программу СИ явным образом воспринял коммунизм советов,

взятый из посттроцкистского журнала «Социализм или варварство». Был начат тщательный пересмотр истории и перспектив рабочего движения. Как полагает Хоум, вместо демократизации искусства деборовцы стали требовать его «реализации и подавления».

Может, я тупой, но я такой не один – Том Вейг со мной согласился: во всем этом я не вижу ничего, кроме фразеологических нюансов, прикрывающих фракционную борьбу. Школы утопического социализма, дававшие подробные чертежи будущего, вышли из моды еще в XIX веке – современный утопизм склоняется к нечеткости, метафорам и обобщениям. Иван Щеглов, леттрист и ситуационист, предвещал, что «каждый будет жить в собственном храме». Ванейгем призывал «хозяев без рабов» организовать «обобщенное самоуправление». Реализация *любой* идеи значит ее подавление, реализация любой ценности делает ее бросовой. Лучше уж с самого начала ясно объявить, к чему призываешь. Разница между эстетами и политиками в СИ была разницей тактик – и, может быть, разницей темпераментов. В начале 60-х эстеты пессимистически оценивали ближайшие виды на пролетарскую революцию, а потому предлагали пока усилить влияние там, где оно чувствовалось, то есть в сфере искусств. Политики же были оптимистами и, демонстрируя собранные ими списки разного рода бунтов (спонтанные забастовки, малолетние хулиганы, красочные восстания вроде мелелизма в Конго), находили в них знаки того, что вскоре стали предсказывать открыто – вторую атаку пролетариата на классовое общество. Эстеты рассуждали, а политики пророчествовали больше, чем на тот момент было разумно.

То, что в теориях было мало различий, подтверждается тем, что в конечном счете и в практике их оказалось немного. Оформив развод, оба направления приступили к яростной пропаганде – словом и, в лучших традициях дадаистских и сюрреалистских скандалов, делом. Как рассказывает Хоум англоязычному читателю (впервые с 1964 года), экс-ситуационисты из Скандинавии, Германии и Голландии образовали Второй Ситуационистский Интернационал. Они организовывали публикации с использованием коллажей и вырезок, предвосхищая стиль фэнзинов и постеров американского маргинального сообщества конца 80-х годов. Кроме того, они отрезали голову у чтимой – и любимой туристами – статуи Русалочки в гавани Копенгагена. Немецкие участники, группа «Spur», оказали влияние на немецкое радикальное движение, включая его террористические отростки вроде «Движения 2 июня». В Голландии Констант на пару с несколькими анархистами разжигал движение Провос – высшую точку шестидесятнического анархо-луддитского вторжения в обычную жизнь.

Тем временем в Париже политики – «спекто-ситуационисты», по Хоуму – шли против ветра. Они никогда не покидали искусство как поле боя – Мишель Бернстин, жена Дебора, создавала опусы вроде «Победы шайки Бонно» и «Победы рабочих советов в Венгрии». Дебор продолжал снимать фильмы, из которых, как утверждают, многое украл Годар. Но больше им нравилось разрабатывать новые концепции – такие, как «спектакль» (организация видимостей Системой и для Системы) и «приведение в норму» (то, как оппозиционные тенденции, подорванные внутренними спорами и частными интересами, абсорбируются порядком вещей – например, движение за гражданские права). Выводы они опубликовали в двух книгах: «Общество спектакля» Дебора и «Трактат о жизни, полезный юному поколению» Ванейгема (в

английском переводе он стал «Революцией обывденной жизни»). Обе книги вышли в начале 1967 года, как раз вовремя, чтобы оставить свой отпечаток на всеобщей забастовке мая-июня 1968 года. Впрочем, генеральная репетиция произошла раньше, в Страсбургском университете, где студенты, симпатизировавшие СИ, захватили студенческий профсоюз и просадили всю его казну на перепечатку гневных ситуационистских проповедей и прочих неподобающих материалов.

Возражения Хоума против деборовцев, в сущности, не политические, а моральные. По примеру Бретона, парижане просто не хотели играть честно и яростно вычищали из своих рядов врагов – вчерашних друзей. Еще вчера Жиль Вольман был товарищем Дебора по леттризму, сегодня выяснилось, что Вольман – умственно неполноценный. Странно, что он так долго дурил голову Дебору, такому хорошему наблюдателю. Констант играл в изначальном проекте ситуационизма центральную роль, но Провос, вдохновленное им движение, СИ злобно чернил, даже не упоминая, что Констант когда-то был ситуационистом. СИ и его англоязычные пропагандисты (включая Кена Набба) целиком скрыли существование Второго (немецкого) Ситуационистского Интернационала (члены которого на их сектантском жаргоне именовались «нашистами»). Более того, деборовцы приправили неспровоцированную враждебность лицемерием. Хоум открыл публике, что самый успешный из ситуационистских художников, Асгер Йорн, был главным спонсором СИ и до, и долгое время после своего выхода из Интернационала в 1964 году. Причем спонсировал он оба Интернационала. Йорн, должно быть, был человеком на редкость щедрым, учитывая, что изгнанный Йорген Наш, главный «нашист» – его младший брат. Эти и другие свидетельства выставляют Дебора с компанией в нелестном, попросту неприглядном свете. Но Маркс тоже был отвратительный тип. Какое это имеет отношение к связности его – и их – критики? Даже Хоум понимает, что надо продолжать: если он хочет выиграть эту игру в Царя Горы, следует принизить *идеи* ситуационистов и их влияние.

Будучи художником, Хоум предсказуемым образом должен бы оспорить – если он вообще что-нибудь хочет оспорить – «спекто-ситуационистскую» формулу реализации и подавления искусства («спекто-ситуационистское» – это прилагательное, которое Хоум использует для СИ после исхода эстетов – намекая на понятие спектакля, о котором см. ниже). Он цитирует ситуациониста Хайяти: «Лозунг реализации искусства – поэтика ситуационизма – значит, что нельзя реализовать себя в «работе»; можно просто реализовать себя, и точка». Единственная реализация искусства – искусство жить. Далее Хоум комментирует:

«Поскольку искусство, с материалистической точки зрения, есть процесс, происходящий в буржуазном обществе, о его *реализации* не может быть и речи. Это метафизическая идея, так как она не только предполагает, что у искусства есть независимая суть, но и что оно, как категория, не зависит от социальной структуры. Заниматься его *реализацией* и *подавлением* – значит пытаться спасти его как образ мысли в тот самый момент, когда категория *отменяется*. Искусство исчезает из музеев *только* для того, чтобы появиться *везде!*»

Хоум здесь – как он с тех пор признал – вывертывает утверждение Хайяти наизнанку, и при этом еще приписывает «спекто-ситуационистам» мысль, которую он сам отстаивал, когда ее высказывали эстеты. Кроме того, «материалист» должен понимать, что из ничего ничего не получится. Революция – это процесс выборочной

экспроприации элементов прошлого, их переделки и перераспределения; взвешивание, просеивание, вынесение приговора; детурнеман, буквальный и бескомпромиссный. Абстрактное осуждение всех и каждой сторон буржуазного общества как чего-то фатально нечистого – это не просто плохой марксизм, это болезнь буржуа, снedaемого ненавистью к себе. Прошлое дано для того, чтобы с умом его грабить. Хоум зовет себя материалистом, но он не диалектик; противоречие для него – не возможность творить, а повод морально негодовать. Но морализм, как и скука, всегда контрреволюционен. Всегда.

Далее Хоум переходит к главной метафоре СИ – к понятию спектакля, который есть, по словам Дебора, «не собрание образов, но система общественных взаимоотношений, опосредованная образами». Чтобы разъяснить эту концепцию, Дебор написал целую книгу, а безнадежно запутавшийся Хоум развенчивает идею в двух абзацах, причем даже такое совершенно недостаточное пространство тратит без всякой пользы. Человеческие взаимоотношения, обиженно заявляет он, всегда происходили посредством чувственного восприятия – например, зрительных образов. Дебор смотрит дальше этой очевидной банальности и видит, что «все, что раньше непосредственно проживалось, теперь только представляется». Спектакль – это нечто *вставленное* между Мной и Тобой, *организация* видимостей, управляемая извне. Дистанция между общением, опосредованным через символы, и спектаклем – это дистанция, разделяющая первобытную экономику взаимных даров и глобальный рынок. Дебор, как Гегель, не занят разоблачением опосредованного восприятия вообще; он указывает на деградацию обыденной жизни, на ее движение, по его словам, от «быть» через «иметь» к «казаться».

Хоум жалуется, что Дебор рассматривает «спектакль как явление обобщенное и в то же время локализованное». Да – точно так же, как Маркс рассматривал капитал. Это не есть, в гегелевских терминах, конкретно-универсальное – это множасьщиеся одинаковые изоляты. Все везде нам знакомо, но мы нигде не чувствуем себя дома; приходится всегда выбирать между отражениями. Хоум страдает каким-то тэтчеровским психологическим отвращением к неаккуратности, он настаивает на приличиях и не понимает метафор.

Первое. Дебор, по словам Хоума, только оценивает сцены спектакля, не выявляя внутренних связей. Разумеется, книга Дебора не есть формальный дедуктивный анализ – как и все социальные теории. В этом отношении деборовский «ряд взаимопроникающих, но вряд ли четко организованных описаний» напоминает то, как Токвиль писал об Америке, Вебер – о протестантизме, Дюркгейм – о религии, Маркс – об историческом *материализме*, Ницше – о христианстве, а сам Хоум – более-менее о чем угодно. Второе. Эстеты-скандинавы, замечает одобрительно Хоум, хотя бы «имели совесть поставить слово Второй перед названием своего СИ». Когда речь идет о том, верна или не верна *теория* – причем здесь *совесть* и нумерация? Третье. Ситуационист Ванейгем «описывает коммунистическое общество как мир «хозяев без рабов», в то время как на самом деле в этом обществе все метафоры классовой доминанции потеряют смысл». Да, потеряют-отогйа; чтобы перейти от «сейчас» к «тогда», Ванейгем реализует и подавляет тот смысл, который они *сейчас* несут. В бесклассовом человеческом сообществе разделенные и расчлененные качества хозяина и раба воссоединятся и расцветут, превратившись в общее достояние на-

следников нашего общего достояния. Возможно, эта идея слишком оптимистична; можно спорить, насколько она выдерживает критику; но когда Хоум называет ее бессмысленной, он демонстрирует только собственную неспособность ее понять.

Разгромив (как ему кажется) ситуационистские теории, Хоум преуменьшает их влияние на реальную жизнь. Судя по его объяснению того, почему СИ не мог заметно повлиять на французское восстание мая-июня 1968 года, материализм для Хоума сводится к подсчету голов: «Учитывая, что в майских событиях принимали участие миллионы рабочих и студентов, значимость столь крошечной группы можно считать пренебрежимо малой», – поскольку в СИ в тот момент было 18 членов. Хоум представить себе не может, как маленькая группка, попавшая в стратегически правильное место, может сыграть в подходящем кризисе огромную роль. При этом все знают, как engage, союзники ситуационистов среди студентов, спровоцировали серию все более серьезных столкновений с полицией и с университетскими властями, которые закончилась всеобщей забастовкой 10 миллионов рабочих. Сами же ситуационисты осуществили агитационный проект огромного масштаба, распространили сотни тысяч плакатов и текстов – и, судя по тому, что их лозунгами был исписан весь Париж, многие им симпатизировали.

Как правило, трудно доказать интеллектуальные влияния на политические события. Хоум, в одном абзаце расправившись с темой, даже и думать не может о том, чтобы объяснить майские события. Согласно Хоуму, преувеличение роли СИ выгодно правым. Примеров он не приводит. В академической среде влияние СИ признавали враждебный ситуационизмуполиттеоретик Бернард Браун, социолог Альфред Виллинер, симпатизирующий участник и наблюдатель, и историк левого толка РишарГомбен. В отличие от Хоума, они ничего не просят принимать на веру – и приводят выдержки из реальных речей и описания реальных событий, в которых некоторые из них еще и лично участвовали.

Еще более *неприлично* для Хоума то, что ситуационисты меняли не только парижскую *жизнь*, но и лондонское *искусство*. Влияние ситуационистов напанк, рассуждает он, менее важно, чем влияние «футуризма, дадаизма, флюксуса, «TheMotherfuckers» и мейл-арта, почтового *искусства*». На первый взгляд, это просто смешение категорий, путаница между влияниями непосредственными и опосредованными, мешанина из ситуационистов, тех, кто на них повлиял, и тех, на кого повлияли они. Кинг моб, к примеру – это объединение, в терминах Дебора, «про-ситу», эпигонов, не допущенных собственно в СИ (включая нескольких членов английского отделения СИ, «исключенных» в 1967 году). Они были *проводниками* ситуационистского влияния в кругах английского авангарда, а вовсе не конкурентами – особенно если учесть, что к тому времени, когда возник панк, и Кинг моб, и СИ давно развалились. Более того, панк в буквальном смысле слова изобрели бывшие члены Кинг мобМалькольмМакларен и Джейми Рид, причем как довольно циничный эксперимент по ситуационистскому социальному манипулированию. Рид создал визуальный стиль, Макларен набрал людей для «Секс пистолз», причем в тех же художественных школах, из которых происходили все британские рок-группы, начиная с «Кинкс». (Кто, кроме студентов художественных школ, мог хотя бы слышать о вещах вроде флюксуса и мейл-арта? Уж точно не футбольные фанаты-пролетарии, которых романтически представляет себе Хоум.)

Но что если Хоум вообще упускает из вида самое главное? Ведь панк – это в первую очередь рок-н-ролл, активная музыка для молодежи, что бы еще в него не вкладывали и не вчитывали. Панк как музыка – изобретение нескольких хипповских групп, в основном детройтских, игравших в конце 60-х (вроде «Stooges» и «MC5»); следует отметить, что уже тогда он имел явное сексуальное и политическое содержание. Все, что Хоум может про это сказать, это что «MC5» были связаны с партией «Белые пантеры», причем он путает детали и даты. Как вообще можно при всей нелепости рок-н-рольной революции (член «Белых пантер» Джон Синклер, впоследствии бизнесмен, написал книгу «Гитарное войско», sic!), написав книгу о популярной «утопической» культурной политике, полностью выкинуть из нее йиппи, Власть Цветов и Нацию Вудстока ради того, чтобы получше изобразить несколько тысяч разочарованных в жизни художников, которые посылают друг другу открытки? Если это – Утопия, то по сути, как и *этимологически*, она попросту неуместна.

Хоум заявляет, что ему просто не хватает места, чтобы надлежащим образом описать контркультуру 60-х годов. Однако панковскому движению гораздо меньшего масштаба место нашлось – просто потому, что сам Хоум каким-то боком к нему был причастен. Есть даже небольшой раздел, посвященный движению из одного человека – «саморазрушающему искусству» Густава Мецгера, – потому только, что в нем предвосхищены некоторые стороны неоизма, другого увлечения Хоума. Нехватка – места у Хоума, газет в Никарагуа – это не природная катастрофа, а политический выбор. Никто не заставлял Хоума писать книгу, за все ошибки и пропуски отвечает он сам.

На этом фоне мейл-арт, почтовое искусство, описано подробно и в хвалебных тонах. Даже сам Хоум признает, что по большей части мейл-арт – это барахло. Большинство участников движения отвергает мир художественных галерей, музеев и критиков только потому, что для него они слишком бездарны. Политическое измерение, которое Хоум приписывает этому хобби, выглядит притянутым за уши. Якобы присущие ему эгалитарность и встроенное зрительское участие неявно «демократичны» и тем самым угрожают истеблишменту мира искусств – так и видишь, как истеблишмент дрожит от ужаса из-за того, что несколько дилетантов объединились в группу по интересам.

Хоум ругал ситуационистов за их маниакальную идею, что «наши идеи в головах у всех», за то, что они приписывали собственную идеологию всем – от венгерских рабочих до бунтовщиков из района Уоттс. И даже не очень удивительно, что это одновременно и самое серьезное из всех сколько-нибудь осмысленных обвинений, и обвинение, которому Хоум уделяет меньше всего внимания; неудивительно, потому что оно применимо к нему самому. Он тоже думает задругих, им остается только прийти и забрать готовые выводы. Итак, Хоум: «Будучи открытой системой, сеть почтового искусства дает огромные возможности, но для того, чтобы они стали реальностью, необходимо, чтобы большинство участников полностью осознали ту субверсивную тенденцию, нестройной частью которой являются посылаемые открытки». Я бы на это не рассчитывал. Хоуму не приходит в голову, что мейл-арт – это не провалившаяся попытка оправдать его ожидания, а успешная реализация того, что и было задумано. Мейл-арт дает участникам искомое: возможность собраться в не критичное замкнутое сообщество, гомологичное художественному истеблиш-

менту, хотя и противостоящее ему в своей риторике. Тут есть свои звезды, вроде как на Олимпиаде для инвалидов. Это замкнутое гетто, нечто самодостаточное, самоотупляющее, защитное, как невроз – не нестройная революция, а стройная инволюция.

Как и мейл-арт, панк заслужил у Хоума одобрение, поскольку делает то, чему учит. Он «демократичен», потому что предполагает участие и вовлекает тысячи человек, и он не *искусство*, потому что там все по-простому. И что, это достаточные условия для зачисления в политически корректные утопические движения? Тогда фанаты «Грэйтфулдэд» – это тоже утопическое течение: их тысячи, они вместе поют, хлопают и накуриваются на концертах, и что уж точно не искусство, так это музыка «Дэд». Кроме того, понятно, что находить «демократию» в панке *как он есть* – еще большая натяжка, чем теории Хоума про мейл-арт. На фоне других жанров поп-музыки середины 70-х панк действительно допускал участие зрителей: потребители были активнее обычного (избивали друг друга на танцполу и швыряли разные предметы на сцену), и наблюдалась заметная вертикальная мобильность – из слушателей-пролетариев в исполнители-буржуа. Перед талантами открывались перспективы – именно потому, что сочинение панка само по себе талантов не требовало. Но давайте отбросим саморекламу: пропасть между производителями и потребителями никто не преодолел, ее только слегка сократили, лишь для того, чтобы снова раздвинуть – как только именно дурная репутация панка и помогла инкорпорировать его в спектакль (не говоря уже о индустрии звукозаписи). Неудивительно, что бывший панк Хоум так ненавидит ситуационизм – его собственное учение, воплощение Юношеских бунтарских грез, дает нам классический пример ситуационистского «приведения в норму» – *возвращения* диссидентствующих течений в лоно спектакля. Фрагментарные, частично оппозиционные движения тащат на себе слишком много мертвого груза – а потому, не достигнув второй космической скорости, либо падают обратно в атмосферу, где и сгорают, либо кружатся по орбите, как верные спутники.

Сравним панк и мейл-арт с еще одним течением которое, по определению Хоума, следует назвать утопическим: *фанатами научной фантастики*. Начиная с 30-х годов НФ подвигает на активную деятельность бесчисленных фанатов (*фэндом*, как они себя называют), и у них все по-простому – на самом деле, куда проще, чем у панков в любой момент их существования. Только в Соединенных Штатах, где он заметнее всего, фэндом включает в себя десятки тысяч активных участников, кочующих с одного научно-фантастического конвента на другой, имеющих собственный жаргон и свою литературную традицию и выпускающих несчетные АРА (*amateurpressassociation*) – то есть журналы, написанные читателями. Как инструмент прямой *демократии* АРА оставляет панковский концерт далеко позади.

Кроме того, фэндом имеет и явно выраженное утопическое измерение, совсем не похожее на то, к чему привыкли эстетствующие типы вроде Хоума. Любители фантастики – зачастую сами хакеры и компьютерные пираты, и в любом случае сочувствуют им. Это технофилы, любители мечтать и спорить о Последнем Рубеже, о крионике, робототехнике, нанотехнологиях и искусственном интеллекте. Кто-то из них увлекается утопическими идеями, которые покажутся Хоуму, если он снизойдет до того, чтобы их заметить, (как и мне) скорее антиутопией – например, либертарианством капиталистического толка. Как всегда – что русскому здорово,

то немцу смерть. Леттрист и ситуационист Иван Щеглов предсказывал, что каждый будет жить в собственном храме; Майк Хой, определяющий себя как либертарианца из безумного крыла, хочет представить каждому астероид. И то, и другое имеет свои привлекательные черты – по мере того, как мы приближаемся к эпохе, где каждый будет жить в собственном мусорном баке.

Течения, которым Хоум симпатизирует – особенно те которые он почтил личным участием, – описаны более снисходительно. Сюрреализм – это так, производное берлинского дадаизма, но в панке-то все свои чуваки; при этом Хоум признает, что в панке не было ничего оригинального, и занимается лишь выяснениями, что взяли у одного, а что – у другого предшественника. Он издевается над ситуационистами, надрессировавшими в искусстве скандала своих последователей из страсбургского студенческого профсоюза, но всячески минимизирует куда менее добровольное программирование, которому клика Макларена подвергала ранних панков (затем сменная дидактиками от анархизма из КРАС и другими педагогами левого толка).

И этим корыстным манипуляциям не видно конца. Последняя тема Хоума – «Классовая борьба», маленькая группа воинствующих анархистов, которая в 1983-1985 годах получила недобрую славу, подбив большую группу куда менее взрослых лондонских панков на участие в нескольких шумных и умеренно-разрушительных демонстрациях. В Германии бывший ситуационист помог создать Коммуну I – которая не только принесла в Германию политизированную контркультуру хиппи, но и косвенно вдохновила вооруженные партизанские группы вроде «Движения 2 июня». Но Коммуне I Хоум отводит два абзаца, а «Классовой борьбе» – отдельный раздел.

В Соединенных Штатах престарелые леваки со связями в масс-медиа (и пристрастием к молоденьким девушкам) подчинили себе несколько панковских тусовок, выдавая поощрения (рецензии на пластинки, возможность играть в клубах, раскрутку по радио, места на компиляциях) идеологически (и сексуально) послушным. Автор панковских комиксов Джон Крофорд, например, без устали разоблачал подковерную игру обосновавшихся в Сан-Франциско деятелей из «MaximumRock'n'Roll» и их подельников, «DeadKennedys» ДжеллоБиафры (ныне распавшихся). Хоум об этом ничего не пишет. Он вообще, похоже, не знает, что в Америке был панк. И тем показывает не только собственную ограниченность, но и лицемерное отношение к панковским кукловодам. Неважно, что панки не видели, как их используют, потому что «такое непонимание не мешало ребятам с улицы принимать панк как способ высказать и разочарование, и желание перемен». Так Хоум распознал тайный смысл панка, оставшийся неосознанным для рядовых участников (это его фраза, не моя) – точно так же, как СИ имел привилегированное право интерпретировать действия забастовщиков в Испании, бунтовщиков в Уоттсе и учащих в Беркли, которые сами так ничего и не узнали об истинном смысле своей деятельности.

Пора вернуться к странной редакторской политике Стюарта Хоума и разъяснить ее тайну. Каждое упоминание, и каждое одобрение/неодобрение легко объяснить, исходя из одного или нескольких из нижеследующих принципов. Противоречий между ними почти нет, выбор Хоума произволен, но не случаен. Я не утверждаю, что Хоум *осознает* принципы, *управляющие* его поведением. Но поскольку наше мнение о человеке не зависит от того, что он сам про себя думает, постольку и явственно

субъективные капризы Хоума следует обосновать объективными, хотя и скрытыми фактами. Итак:

1. *Генеалогия морализма.* Хоум пишет, как человек (по его словам) «ангажированный» традицией, хотя правильнее было бы сказать «вошедший в семью». Его интересуют только те авангардные течения, которые появляются в его собственном генеалогическом древе (включая «паршивых овец» клана вроде ситуационистов). Поэтому в родословной каждого, кого Хоум упоминает, фигурирует футуризм или дадаизм – дедушка-дадаизм, включая сюрреализм, который для автора – скелет в семейном шкафу, выживший из ума дядюшка, наследник имения, чьей смерти все с нетерпением ждут, чтобы передать титул брату или племяннику вроде КОБРА или леттризма. Хотя родословные порой выходят сомнительные, но, несмотря на нехватку места (ограниченного не то его издательством, не то его терпением, не то его познаниями, чем именно, он не говорит), Хоум всегда старательно отслеживает эти связи. Настолько, насколько ему это удалось, он сделал вещь, полезную для традиции и для небольшого, но увеличивающегося круга ее почитателей. Но – дорогой ценой.

С большими или меньшими основаниями к утопическим течениям можно отнести зеленых, феминисток, фэндом НФ, дискордианцев, либертарианцев, нью-эйдж, хиппи и традиционных анархистов – но все они ничем или почти ничем не обязаны ни дадаизму, ни футуризму. Несколько видимых исключений только подтверждают правило. Из двух упомянутых Хоумом более или менее анархистских движений ПровосчерезКонстанта наследовало КОБРА и ситуационистам, а «Классовая борьба», как было отмечено, размахивало панковскими тотемами, чтобы привлечь молодежь. Коммуна I в Германии и «TheMothefuckers» в Нью-Йорке относились к движению хиппи; но первые произошли от дадаистской группы, а вторые были основаны человеком, которого не приняли в СИ. «Белые пантеры» упомянуты неохотно и только потому, что их рок-группа «MC5», так сказать, вошла в семью через брак – изобрела панк-рок; их кузены-йиппи тем самым становятся дальними родственниками. Я подозреваю, что прослеживаемая Хоумом «традиция» играла в контркультуре 60-х роль куда большую, чем многие, включая Хоума, осознают. Флюксус, художественное движение, которое Хоум все же описывает, к его очевидному ужасу, все больше растворялось в движении хиппи. В движении участвовала Йоко Оно. «TheFugs», «самая старая рок-н-рольная команда в мире», сочиняли смешные, непристойные и умные песни, в которых видно знакомство со всем, от анархизма до Уильяма Блейка; они вполне могли сознательно использовать традицию. Кроме того, если бы Хоум опубликовал книгу о современных контркультурных течениях и не упомянул в ней йиппи, его просто сочли бы невеждой (то, что не упомянуты дискордианцы и анархо-капиталисты, могло бы сойти с рук). Подводим итог: Хоум написал книгу не столько по истории, сколько по геральдике.

2. *Правь, Британия.* Стюарт Хоум – евроцентрист, а если позволяют обстоятельства, то англоцентрист. Английские движения, в которых участвовали сотни, для него важнее американских, в которых участвовали сотни тысяч. Чем ближе к Хоуму во времени (1975 год и далее) и в пространстве (Лондон), тем лучше. Посмотрите на неравноценный подход к хиппи и к панкам. В 60-е американцы создали огромную контркультуру хиппи, которой подражали в Англии, в Германии и в других местах. Хоум пренебрегает ей. В 70-е англичане – одновременно в продолжение тра-

диции хиппи и в противовес ей – создали контркультуру панка куда более скромных размеров, которой подражали в Америке и в других местах. Хоум описывает ее невероятно (для него) подробно. Еще раз демонстрируя свой шовинизм, он совершенно игнорирует количественный взлет панка в Америке и других странах после того, как на родине он потерял жизненные силы. Но Хоум считает, что панк закончился примерно в 1979 году-как раз когда американский панк набирал обороты в Сан-Франциско и в других городах; я говорю об этом только потому, что сам при этом присутствовал. Периодически любой панк, и особенно панк американский, имел утопическое политическое измерение. На самом деле, в Сан-Франциско на рок-группы вроде «NegativeTrend», а потом «Flipper» «традиция» в форме проситуационизма влияла непосредственно; в окрестностях Сан-Франциско в 1970-е годы действовало несколько групп про-ситу, которые Хоум не упоминает, хотя какие-то из их текстов появляются в его библиографии. К настоящему времени в Сан-Франциско и кое-где еще эти ситуационистские и панковские элементы слились в анархизм; но о таком обороте дела Хоуму нечего сказать.

Я не виню Хоума за то, что он не упоминает (скорее всего, по незнанию) панк как политическую и культурную силу в Югославии, Греции, Мексике, Финляндии и, возможно, Эстонии в 1980-е годы. Ограничить историю разумными рамками – это, конечно, разумно. Но как объяснить то, что североамериканского панка для него просто не существует, в то время как «квартирные фестивали» североамериканских неоистов (то есть попросту пьянки, поданные как хэппенинги) заслужили снисходительного упоминания? Хоум игнорирует панков из других стран точно за то же, за что упоминает, хоть и в снобистском тоне, иностранных неоистов. Канадские и американские неоисты постоянно ездили в Лондон. Они, может, не англичане – но отдали Родине дань уважения, совершив паломничество. Быть – значит быть замеченными Стюартом Хоумом. Любое движение, которое как-то касается Англии, получает от него свою долю рекламы.

С другой стороны, Хоум не хочет – и не может – иметь дело со сколь угодно значимыми течениями контркультуры, которые не будят в нем националистические чувства. Я уже говорил о фэндоме НФ и связанных с ним моментах. Есть и более важные случаи. Рассмотрим, например, недавнюю американскую традицию серьезно несерьезных религий. В Англии религию воспринимают всерьез только недавно приехавшие мусульмане. Англиканская церковь – это не более чем клуб. Фанатизм в духе Уэсли там давно исчез. Но в США бредовые протестантские культы не просто процветают, они имеют пугающее политическое влияние. На Юге, в деревенских районах и в | процветающих консервативных областях вроде ОранджКаунти тень евангелического фундаментализма лежит на всякой культуре и всякой мысли, какую там только можно найти. Но любое противодействие вызывает неравное по силе, но противоположно направленное действие. Те американцы, кого фундаментализм попеременно то смешит, то вгоняет в депрессию, засучили рукава и создали собственные его разновидности, с примесью духовности и сатиры в разных пропорциях.

Безусловно утопична, к примеру, Новая американская церковь, которую в середине 1960-х основал АртКлепс – для ритуального потребления ЛСД. Церковь утверждает, что в ней до 6 тысяч верующих, и имеет псевдоиерархию из бу-ху, жаб, приматов, митрополитов и патриархов, священное писание («Библия бу-ху»), обряды – обычно

связанные с наркотиками – и визионерское желание переделать мир в «настоящую сказку», в которой «дурной трип» станет физиологически невозможен. Она безуспешно судилась за свое, как церкви, конституционное право употреблять ЛСД, вроде как Индейская церковь употребляет пейотль; враждебно настроенным судьей на процессе был «Кардинал Герхард Гезелл» (как Клепс окрестил его) – тот самый, что позже председательствовал на процессе по делу Оливера Норты. Возможно, что Новая американская церковь следовала «традиции» Коллежа Патафизики, но более очевидное влияние, причем признаваемое самим Клепсом – это порой юмористичная а-логика дзен-буддизма, возможно, воспринятая по рассказам битников вроде Алана Уоттса.

Примерно в то же время в Нью-Йорке, Балтиморе и нескольких других городах возникла Мавританская ортодоксальная церковь, что-то среднее между исламской ересью и пародией на ислам, вдохновленная примером НоблаДрю Али – первого в Америке черного мусульманина (судя по всему, убитого в камере чикагской полицией). Выходивший в 60-х годах журнал «Вестник мавританской науки» недавно воскрес, потом снова пропал, а теперь вновь выходит под редакцией Метцгера. Кроме того, в 60-е, пока Стюарт Хоум, сидя в ванне, проигрывал морские баталии надувным уточкам, плодоносило движение Дискордии, или Эрис. Эта абсурдистская вера демократична в смысле Хоума, поскольку представляет собой этос и мифологию, созданные и развитые коллективно (по почте, совсем как мейл-арт) и вращающиеся по нерегулярной орбите вокруг Эрис – богини раздора, косвенно ответственной за Троянскую войну. Учение гласит, что Бог – это безумные тетки. Суть его изложили в PrincipiaDiscordia «Макалипс Младший» (в настоящее время специалист по компьютерам из Сан-Франциско) и «Омар Хайям Равенхерст» (КерриВенделлТорнли). Кто-то из дискордианцев впоследствии увлекся либертарианством. Как и бу-ху, дискордианцы что-то взяли из дзена битников – но что-то и добавили к нему, например, книгу КамденаБенареса «Дзен без учителей дзен». Дискордианцев часто можно было найти среди ненормального крыла фэндома. Кто-то из них до сих пор активен, кто-то повлиял на течения, которые признает даже Хоум, вроде неоиизма, субгениев и, возможно, мейл-арта. Недавно переизданная популярная фантастическая трилогия «Иллюминаты!» Роберта Ши и Роберта Антона Уилсона написана дискордианцами и основана на дискордианской мифологии.

Наконец, есть и единственная фальшивая церковь, которую Хоум скрепя сердце признает, мельком, в одной *сноске* на полстраницы – Церковь субгения. В отличие от бу-ху и дискордианцев – но подобно своему предшественнику, тоже из Техаса, радиопроекту начала 70-х «Церковь метафор по поводу» – субгении выворачивают наизнанку евангелизм (в том числе его телевизионные разновидности) в буквальном смысле. Всякий, кто уплатил членские взносы, «преподобный»; активные участники делятся на художников и музыкантов («доктора»), квазипроповедников и других прохиндеев («папы») и непрактичных экстремистских визионеров («святые») (я сам какое-то время был святым). На «разбираниях» можно наблюдать проповедников с пеной у рта, «анти-музыку» (очень похожую на постпанк-индастриал, придуманный участником мейл-артаДженезисомП-Орриджем и его бывшей группой «Троббинг Гристл») и, за кулисами, усиленное употребление наркотиков. Субгениев несколько сотен, хотя всерьез они называют цифру в несколько раз больше, а шутя – вообще миллионы.

Религия, Америка, юмор, возможно, наркотики – как же наш тэтчерист от авангарда вообще заметил нечто, что было в конечном счете не более чем амбициозной попыткой художника Дугласа Сент-Клэра Смита («преп. АйвенСтэнг») выбить себе место на Олимпе, сколотить капитал на собственном безумии? Вот как. Хоум принадлежит, или принадлежал, к неоистам. Самый яркий и радикальный из североамериканских неоистов, Майкл Толсон (известный как ПРИМЕРНО, УДОБСТВО), посетил Лондон и отмочил там несколько шуток. Хоум заключает:

«Помимо участия в хрононавтике, неоизме и Церкви субгения, ПРИМЕРНО в то же время занимался собственными увлечениями, представляя себя как «безумный ученый/д композитор/звучный мыслитель/мыслитель/собирающий/бывший арт; не художник». Не знаю, как настолько *стильный* человек, как ПРИМЕРНО, мог бы поддерживать в себе интерес к *Церкви без всех этих развлечений*».

На самом деле, могу сообщить, что ПРИМ и еще несколько человек из более независимых и творческих изобретателей Церкви («других мутантов», как в ней называют предшественников и движущихся по неевклидовым параллелям) устали от нее не меньше меня. Но, по словам Хоума, все, что он описывает, уже кончилось. Как бы то ни было и как бы это кого-то ни пугало, субгениям удавалось собрать под свои знамена впечатляющую компанию фанатиков утопии – и включенных в традицию, и нет. Поскольку субгений – это дерзкий ответ на дебильный фундаментализм, выкормленный в 80-е годы Рейганом, попытка тушить пожар огнем, он заслуживает большего уважения, чем ему оказывает Хоум – как всегда, не понимающий исторического контекста. Хоум понятия не имеет, с чем мы столкнулись: с ситуацией в Америке он незнаком.

3. *Секс, драгс, рок-н-ролл*. Неуклюжее словосочетание, обозначающее *эмоциональные* стороны утопизма – те, которых Хоум побаивается. Здесь мы перекрываем предыдущие два пункта не столько по содержанию («смыслу»), сколько по точке зрения – «точке отсчета», в категориях Фреге. Стюарт Хоум *зжат*. В пылу спора Хоум – как до него Маркс и Дебор – иногда может выжать из себя минутную иронию или спазм сарказма. Талант Хоума-пародиста находит выход в журнале «Улыбайся!» – но не в описываемой книге, целиком серьезной, слишком серьезной.

Бунтовщики 60-х хотели расширить сознание и полностью использовать тело. Сексуальная свобода и эксперименты с наркотиками – отличительная черта многих течений, которыми Хоум пренебрег, вроде битников, хиппи и бу-ху. То же было и в панке, хотя в пораженные СПИДом 80-е возникла и пуританская панковская контрреволюция «стрейт-эйдж». Несколько видных панковских деятелей (Дарби-Краш, УиллШаттер) умерли от передозировки и делят теперь с Джимом, Джими и Дженисрок-н-рольный рай. Но секс и наркотики встречались не только в раннем английском панке, единственной разновидности, которую признает Хоум, – но и среди дискордианцев, фанатов НФ, субгениев и неоистов. Хоум неявно осуждает все эти гедонистские эксцессы; лучше бы он признал, что было и почему ему это не нравится. *Традицию*, которая с гордостью признает за предшественников де Сада, Бодлера, Рембо и Жарри, нельзя, не искажая, кастрировать и отлучить от веществ.

Как сегодня поживает *традиция*? Куда лучше, чем можно представить себе по книге Хоума – который заканчивает ее на 1985 году, отправив в забвение «Классовую борьбу». С начала 80-х в Северной Америке (с определенной помощью других конти-

нентов) происходит что-то вроде объединения изгоев, некое взаимооплодотворение всех утопических направлений. Как среда используется почта, один из источников – мейл-арт. Я придумал термин «сообщество маргиналов», и слово «маргинал» вошло в обиход. Грубо говоря, в контакт частично или целиком вступили утопические течения – панк, мейл-арт, НФ фэндом (незначительно), дискордианцы, либертарианцы (незначительно), анархисты (отчасти), субгении и свободные абсурдисты и всякие неклассифицируемые деятели вроде меня. Скорее всего, ключевое средство связи – фэнзины, дополненные деятельностью плакатчиков вроде меня и массивной многосторонней перепиской. Читательские АРА, пришедшие из фэндома НФ, приспособили к политическим и смешанным применениям. Теперь мейл-арт часто встречается именно там. Главные средства публикации – ксерокс и дешевые таблицы. Те, кто склонен к аудио-восприятию, записывают на кассеты музыку, иногда даже письма, и распространяют их по почте. Технофилы и технофобы развлекаются вместе.

Описывая собственное взросление в панковском Лондоне, Хоум говорит: «Доминировала этика «сделай сам», независимые лейблы выпускали пластинки *неизвестных* групп, независимая пресса в виде панковских фэнзинов (чаще всего отксеренных тиражом в несколько сотен) распространилась повсюду, и почти каждый панк был свой собственный *кутюрье*, модифицируя одежду разрывами и разрезами». Отбросив разрывы и разрезы, получаем точное описание того, чем частично является маргинальное сообщество 90-х годов. Майк Гундерлой, издатель журнала рецензий «FactsheetFive», осторожно предполагает, что в любой момент только в Соединенных Штатах выходит от пяти до десяти тысяч фэнзинов, причем половине из них не суждено прожить больше года. (Что само по себе неплохо. Высшие достижения традиции часто сиюминутны и зависят от места и времени.) Лучшие панковские фэнзины расширили свой кругозор, добавив к содержанию чаще всего политику (как правило анархизм), но, случается, и юмор (вроде журналов «Тошнотный подросток» и «Изврат», причем в последнем фигурирует также спорт!).

Панк, НФ, анархизм, субгений, мейл-арт, проситуационизм – в каждой из *тусовок* есть люди, тайно заинтересованные в ее институционализации, стражи границ, которые боятся того, чего не знают. Те, кто путает единообразие и общность духа. Они избегают (цитируя Майка Гундерлоя) «перекрестных течений и перекрестного опыта», создающих сообщество маргиналов, где каждая среда может что-то отдать и что-то получить, что-то выиграть, ничего не проиграв. Люди талантливые, как правило, стремятся расширить свой репертуар и отойти от исчерпавших себя форм. Эд Лоренс сначала был поэтом, потом публицистом, потом стал делать плакаты. Эл Акерман бросил карьеру писателя-фантаста ради более свободной жизни фаната, затем превратился в выдающегося художника мейл-арта, поучаствовал в создании неоиизма, а сейчас выдает на-гора комиксы и потешные басни. Меньше чем за три года покойный Джерри Рейт создал массу эссе, стихов, рассказов и плакатов. Если ваша цель – «объединение всех видов деятельности», то многим маргиналам с вами по пути.

Хотя более консервативная часть фэндома – фанаты научной фантастики – смотрят на это свысока, одна литературная фракция, киберпанки, завязала с маргинальным сообществом тесные связи. Джон Ширли играет в панковской группе. Брюс Стер-

линг под псевдонимом выпускал фэнзин «Дешевые истины», а помогал ему Льюис Шайнер, автор колонки в выдающемся панковском фэнзине «Принудительное разоблачение». Стерлинг в романе «Острова в сети» и Шайнер в романе «Слэм» прямо использовали мои труды против работы. Кроме того, Ширли и Шайнер участвуют в субгении. Недавний выпуск «Semiotext(e)», посвященный научной фантастике – это (не очень удачная) попытка скрестить научную фантастику с культурой фэнзинов. Все связи между *традицией* и научной фантастикой проследить невозможно (например, Лиза Голдстейн написала научно-фантастический роман про сюрреалистов), но практически все мои знакомые-маргиналы в тот или иной период читали фантастику. Хоум обо всем этом ничего не слышал.

Искренне согласен с *одним* из выводов Хоума, а именно: «Жаль, что многие самиздатские организации не поставили точку задолго до окончательного разложения». Субгении, к примеру, сами себе набили шишку, не исключено, что смертельную, на бостонском Бобалоне 1987 года. Местное *начальство* субгениев во главе с алкоголиком Ахмедом-рыботорговцем велело охране выгнать ПРИМЕРНО, УДОБСТВО, даже не выяснив, кто это такой. Потом Священный Писчий Айвен Стэнг принялся грозить журналу комиксов «Барсук» нарушением копирайта на запатентованное им лицо Доббса, которое он сам спер. При этом он еще врал, что половина нрав на торговую марку принадлежит издающей его корпорации «Саймон и Шустер» Менты, копирайты, художественные карьеры, бомбы в виде кассет – субгений больше не часть традиции.

С другими выводами Хоума согласиться нельзя. Самиздат, термин, заимствованный Хоумом, в самом деле указывает на стремление к независимым публикациям, но, вопреки его добавлению, никак не значит политической ориентации на «антибольшевистский коммунизм». Если и есть какая-то самиздатская политическая ориентация, общая для панков, неоистов и даже для субгениев и фанатов «Грэйт-фулдэд», то это анархизм – часто в ситуационистской интерпретации. Поклонники рабочих советов и другие марксисты-леваки встречаются редко, наверное, даже либертарианцев – и тех больше. И им служат дурную службу ассоциации с печально знаменитыми отвратительными идеологизаторами вроде журнала «Переработанный мир», ежеквартальника из Сан-Франциско с длинной историей сотрудничества с полицией. Вопреки Хоуму, «как традиция» самиздат *не* «по необходимости коллективен» *ни* в целях, *ни* в методах. Многие маргиналы, делающие плакаты, выпускающие фэнзины или просто пишущие письма, буквально кричат в пустоту в силу географической и политической изоляции. Большинство художников мейл-арта будут так же удивлены, узнав, что они коммунисты, как панки, которым сказали, что их цель – объединение всех видов человеческой деятельности. Книга Хоума – не история, это попытка украсть традицию и приспособить ее под собственные нужды.

Однажды Карл Краус написал пьесу на 800 страниц, которую, как он объяснял, следовало исполнить в амфитеатре на поверхности Марса. Эту мою очень длинную рецензию на очень короткую книгу следовало бы опубликовать в фэнзине, выпущенном на Юпитере. Тоненькая книжка Хоума настолько переполнена пустопорожними заявлениями, что автор вполне может рассчитывать на невнимательность критиков, которые не заметят большую их часть. Отступления об объективности и полноте у Хоума очень навороченные, но совершенно не по делу. Отбирая и описывая разные

темы, Хоум автоматически придает им форму, выдает информацию, подвергнутую сильнейшей редакторской правке, за изложение *традиции*, в теории целостной – ведь ей дано имя и приписано, на некотором уровне, единство. Это важно не столько для разных посторонних бездельников, которых *пустили*, сколько для многих утопических течений, которых *не взяли*, - в результате чего даже течения, в книге присутствующие, были искажены из-за неправильного контекста. Как писал Томас Джефферсон о газетах, «даже сама Истина становится подозрительной, если она помещена в грязный сосуд».

Оговорки только отнимают критические аргументы у читателей, которым они здесь нужны даже больше, чем всегда. Я заметил, что чем больше я про что-то знаю, тем легче мне найти ошибки в том, что Хоум про это говорит. Поэтому я не верю ему даже там, где он, вроде бы, знает больше меня, – потому что в теории это всегда так, а на практике, насколько могу судить, всегда не так. Предположительная читательская аудитория книги – кому она открытым текстом адресована, – это те, кто так или иначе вовлечен в *традицию* в настоящем. У них больше энтузиазма, чем информации – о традиции, а вернее, о том, что традиция неожиданной глубины и ширины вообще существует, и они – ее часть. Пижонский цинизм Хоума они (ошибочно) принимают за игры того же рода, в которые сами играют с товарищами – например с панками, – и не замечают метацинизм высшего порядка, которым вдохновлены хоумовскиеманипуляции-путем-искажений. Хоум потешается и над ними. Когда они, что весьма вероятно, обнаруживают вранье в фактах и в интерпретациях, связанных с их собственной тусовкой, то склонны скорее простить это как отдельную ошибку, потому что вся картина в целом выглядит правдоподобно.

Не думаю, что я много умнее среднего гипотетического читателя Хоума, но я так долго во всем этом варился, что знаком, пусть и в разной степени, с огромным количеством разных течений – а с другой стороны, никогда не принадлежал полностью к какому-либо одному (ни к субгению, ни к анархизму, ни к панку, ни к сюрреализму). Я далеко не единственный, кто мог бы написать подробную критику Хоума; однако почему-то за прошедшие шесть лет никто другой этого не сделал. Ну, я в таком положении не в первый раз...

Хотя книга Хоума была первым описанием главных элементов традиции, теперь она не единственная: вышли «Следы помады» ГрейлаМаркуса. То, насколько Хоум встревожен, видно по тому, что он уже опубликовал на книгу Маркуса не менее трех враждебных рецензий, причем ни в одной не говорится, что сам Хоум продает конкурирующий продукт. Я не хочу удваивать размеры своего юпитерианского эссе, обругивая захлебывающуюся восторженностью и рекурсивное многословие Маркуса, которого я, честно говоря, просто не смог дочитать, – как мне объяснили, это для рок-критика обязательный стиль. Конечно, его главный тезис: что высшая точка *традиции* - это «Секс пистолз», божественно явленные в виде «AnarchyintheU.K.», – просто смешон. Но никакого вреда в нем нет. Маркус дополняет информацию, известную автору «Нападения на культуру» (зная Хоума, правильнее сказать «выданную им публике»). Традиция, однако, это не дымоход, а ризома, и никакой высшей точки у нее нет. Она ветвится, проникает в щели, кое-где рассасывается, в других местах – пропитывает, а иногда даже почиет на лаврах – как только появится человек

вроде Стюарта Хоума. В лучших своих образцах она веселится. Под непрерывно бьющимся пульсом.

Кабацкая драка в печати

Рецензия на: Популярная действительность. Редактор преп. Ломик. Бруклин: Autonomedia, 1994.

Издательская деятельность похожа на секс – главное уловить момент. «Популярная действительность» (1983-1987) попала в точку. В среде наблюдалось брожение – из самого лучшего газета гнала самогон. Казалось, что преп. Ломик (Давид Нестл) делает это без видимых усилий – и действительно, усилий от него не требовалось. Собранный безыскусно, но не легкомысленно, «ПД» выражала более чем необычное «я» Ломика, хотя состояла на 99 процентов из чужого материала, причем по большей части сделанного не для «ПД». В «ПД» всегда любили коллажи; неудивительно, потому что она сама представляла собой коллаж. Ломик был сорокой-воровкой с чувством стиля. И к тому же наивным гаврошем-декадентом, невинно-чистым: Анри Руссо с баллоном аэрозольной краски в руке.

К 1984 году течения, увлечения и символы веры сходились воедино в потоках почты; «ПД» отражала точки соприкосновения и помогала их созданию. Разумеется, «политика», со всех сторон «антиавторитарная», но с любовью к насильственным действиям, неважно чьим – что вызывало гнев у стремящихся к точности анархистов. Графика, нарезка из новостей, новости радикального движения, площадной юмор (да, Акерман, ты правильно расслышал) – и, как только мы рассмотрели друг друга, неуправляемый и ни на что не похожий раздел писем в редакцию: вот патентованная формула детского питания Нестла. Многие, на нем выросшие, теперь не переваривают обычную газетную нишу.

Таблоид начал с малого, всего с восьми страниц, и только через несколько выпусков полностью обрел свой ржущий голос. По одному, по два команда собиралась на борт, зажав ятаганы в зубах. Первый состав был такой: Брат Никудышный, Праведный Дервиш, мировой рекордсмен по плагиату из Джека Чика, Дадата (Эд Лоренс), мастер смешений и безобразий, и ваш покорный слуга. Подключив еще двух человек к созданию второго номера, Ломик полностью укомплектовал свою группу для Невыполнимых Миссий.

Анонимные Антиавторитаристы (Джон Зерзан и Дан Тодд) добавили важное идеологическое направление – против часовой стрелки. «ПД» никогда не закрывала двери для ортодоксальных анархистов, даже для жалких «Анархистов Хеймаркета» и жеманных старых дев вроде экс-профессора Джона Беккена, тем не менее, как форум газета больше подходила скорее не анархистам, но анархо-люмпенам, при виде которых князь Кропоткин стал бы нервно теревить бороду, а Малатеста, возможно, снял бы галстук. Другой участник со стороны – легендарный Эл Акерман, парень из второго яруса подсознания, рассказчик баек, каким в свое время хотел, но побоялся стать Марк Твен. Как пишут в колонках знакомств, «плюшевый мишка» – но из тех, что каждый год поедает в Йеллоустонском заповеднике парочку туристов.

А еще – Джерри Ханна и Джерри Рейт, анархисты, разлученные при рождении; Джон Крофорд и Джерод Пол; коллажисты (О'Хара, Косси, Швинд); поэты (Челесте Оатмил, Лорри Джексон); панки (Фидерзз, Фрайтвиг); постпрозаики Джейк Берри и ПРИМЕРНО, УДОБСТВО; прославленные безумцы вроде Торнли и Драгвилы; и всеобщий маргинальный импресарио Хаким-Бей – который пришел поздно, чем доказал, что он не незаменим.

На предприятии с таким раздолбайским менеджментом, как это, вряд ли можно соблюдать хоть какие-то стандарты качества. Боб Макглин так и не заметил, что он чужой на этом празднике жизни, а ближе к концу подполз даже Айвен Стэнг.

Ломик вернул раблезианство в массы. Он был, заимствуя фразу его почитателя Дэвида Макби, бандитствующим упрямым ослом издательского бизнеса; провокатором – но не в смысле «агент полиции». Многие по ошибке реагировали на «ПД» с чувством праведного возмущения. История с терновым кустом повторялась на страницах «ПД» неоднократно и всегда была поучительна. Страстные споры бурлили вокруг Революционной коммунистической партии, вокруг «Истинных анархистов Хеймаркета» и вокруг ШиМо. Минетчики обсуждали сравнительные достоинства обрезанного и необрезанного. Автор колонки в «Нейшн» сперва расхвалил таблоид, а потом объявил ему анафему из-за напечатанного псевдоситуационистского эссе о ревизии Холокоста. (Ублюдок заслуживает того, чтобы назвать его по имени: Стью Клевенс.) Политики жаловались на отсутствие четкой линии (да. Ну и что?). Скучные аполитичные граждане якобы скучали; на самом деле им, скорее всего, было страшно.

В целом, «Популярная действительность» пыталась излечить разрыв разума, воссоединить рассудок и чувство юмора. Забавно в смысле «ха-ха-ха» и забавно в смысле «стоит внимания». Коллаж стремится к общности, к преодолению отчуждения; коллаж – это точка сбора изгоев. А также сублимированное желание расчленил наших друзей и товарищей за то, что они оказались недостаточно хороши: ЭдГейн с чашкой носов и надувным влагалищем. «ПД» была игровой площадкой для нарезки любого толка.

Газета очищала и концентрировала огромные пласты подпольной деятельности, зачастую только появлявшейся на свет, – результат опьянял. Никогда, даже в далеком 1984-м, ни одна маргинальная публикация не могла объединить всё. Вместе с другими журналами – такими, как «Twisted Imbalance» – «ПД» поддерживала движение фэнзинов, перепечатывая многое из совсем крошечных журнальчиков. «ПД» очень помогла (возможно, тысячам людей) создать культуру конфронтации и наноплюрализм, призыв не только потреблять, но и производить. Экземпляры, которые Ломик не удалось продать и отдать по почте, он просто оставлял пачками местной публике. (Типично, хотя и смешно: в течение трех лет Ломик издавал газету в трех разных городах.) Ломик доказал, что бедность не мешает быть филантропом. Не то чтобы он был слугой народа. Просто чтобы что-то сохранить, надо было его отдать.

«Популярная действительность» была кабацкой дракой в печати. Самой лучшей. А эта книга – лучшее из лучшего: *бестиарий* «Популярной действительности».

Под подпольем

Для подпольной прессы 60-х годов нет современного аналога. Ну да, существуют «альтернативные средства массовой информации» – но они, вместе со своими разбогатевшими читателями, хоть и не любят Рейгана, но вполне интегрированы в американский мейнстрим. Не считая нескольких чисто политических листков, жестко придерживающихся идеологии, альтернативные публикации сегодня – это еженедельники для яппи: как правило, всего лишь иллюстрированные афиши на неделю, где изредка встречаются хорошие журналистские расследования. Чего там точно *нет*, так это голоса новой политики и новой культуры.

Метафора «подполья» всегда была неоднозначна. Может быть, имеется в виду «старый крот» Маркса, который подкапывается под существующий порядок. А может быть – как сейчас – отдел распродаж в подвале Великого Американского Супермаркета, рассчитанный на вкусы определенного типа покупателей. Чтобы найти контркультуру нашего времени, надо пробить ход вглубь, *под* фундамент, где в катакомбах бурлит активная, малоизвестная широкой публике нонконформистская жизнь.

Роль печатного станка 60-х годов в 80-х играет копировальная машина. Шелкографические постеры сменились ксероксными коллажами. Контркультуры 80-х еще более децентрализованы, чем их предшественница, и в большей степени требуют участия аудитории. От фэнов научной фантастики пришел «фэнзин», малотиражный ксероксный журнал, и АРА (публикации, написанные читателями), которые кто-то назвал «тусовками на бумаге» (с той существенной разницей, что в АРА нечего пить). Благодаря вездесущим и дешевым копировальным центрам даже 14-летние могут вести альтернативную жизнь по почте, часто под псевдонимами. Для дополнительной безопасности можно за 35 долларов арендовать абонентский ящик. Тем, кто настроен на визуальное восприятие, нет нужды учиться живописи – любая газета переполнена картинками, часто поразительными; их надо только необычным образом перекомпоновать. Добавьте в качестве текста стихотворение, или полемическую реплику, или хотя бы рекламу концерта гаражной группы – и за четыре-пять долларов вы получаете плакат, развешанный без всякой цензуры в ста разных точках вашего городка. Чуть дороже, но все равно многим по карману, записывать на кассеты самодельную музыку (или аудиописьма, популярное развлечение) и распространять их самим либо через маленькие независимые фирмы. Все можно делать по почте, включая мейл-арт, почтовое искусство – когда художники (коллажисты и другие) игнорируют галереи и размещают свои работы на открытках или по очереди публикуют их в фэнзинах.

В 80-е, как и в 60-е, контркультура чаще всего грубит, спорит, колюче и страстно. Частично это молодежная культура, но без выраженных вкусовых предпочтений. Маргиналы, как правило, интересуются музыкой – однако вместо всепоглощающего

психоделического стиля теперь у кого-то панк, у кого-то индастриал, а у кого-то – просто безымянная хай-тек какофония. Хотя можно проследить заимствования и пересечения, неверно, что музыка 80-х – это то, что осталось от панка. Если маргиналы все же участвуют в панковском движении, то часто в роли дружественной оппозиции – отслеживая попытки поглощения доминирующей культурой, то есть то, что, как они думают, лишило жизни рок-музыку в 70-е годы.

И это типично для отношений между маргиналами и прилегающими диссидентскими или авангардными культурными средами. Так, маргиналы обычно знакомы с анархизмом; многие его исповедуют, но прочие отбрасывают его как очередную ограниченную идеологическую систему или критикуют как устаревшую (например, Дикий Фавн в памфлете «Анархия против анархизма»). Многие когда-то читали фантастику, но сейчас или не читают, или, как авторы-интеллектуалы фэнзина «Дешевые истины», критикуют ее теперешнее состояние. Кто-то был или остается либертарианцем, но либертарианцем того типа, от которого респектабельно-буржуазную Либертарианскую партию бьет дрожь, – вроде Сэмюэля Эдварда Конкина III, чей революционный «агоризм» (иными словами, типичный рыночный анархизм) должен по замыслу отменить и освободить рабочий класс, или Эрвина С. Штрауса-младшего, редактора политической АРА «Связь»: в книгах «Атомное оружие в гараже» и «Как основать собственную страну» он доводит до логического конца американский (и маргинальный) индивидуализм.

Не считая либертарианцев, обычно приходящих из консервативных кругов, диссиденты, если и имеют политические взгляды, то левого толка. Редко кто из них не критикует существующие левые организации и идеологии – и либеральные, и ленинистские. «Альтернативная» пресса, если и замечает маргиналов, то отвергает их как фанатиков или безумцев – на что они, как правило, с полным правом могут ответить, что свои партвзносы заплатили сполна. Даже подростков из этой среды родители зачастую в 60-е водили на демонстрации; другие пробирались туда сами – и их высмеивали за короткие волосы те самые взрослые, кого в свое время высмеивали за длинный хайр. Именно эти подростки обычно ссорятся с «распорядителями». (Заметны в этой среде «панки-за-мир» из Сан-Франциско – вопреки тому, что пишут корпоративные СМИ, в основном они пацифисты анархистского толка, а не члены Революционной коммунистической партии.)

Маргиналы постарше часто имеют активистское прошлое. Преп. Ломик, раз в два месяца издающий очень живой таблоид «Популярная действительность» – ветеран пацифистского движения и как-то раз даже баллотировался на выборах. Покойный Джерри Рейт еще подростком попал под арест в Сибруке. Джон Зерзан, летописец «бунта против работы» и других, не проявленных видов бунта, критикующий профсоюзы как защитников капитализма, когда-то был профсоюзным чиновником. ТулиКупферберг, возможно, самый старый из всех маргиналов, который, еще создавая в 60-х группу «TheFugs», уже хвастался, что он – самая старая в мире рок-звезда. В 70-х он начал новую жизнь в качестве карикатуриста-сатирика, публиковал себя сам в малотиражных газетках, а сейчас развлекается с юнцами, которые годятся ему во внуки. Почему так мало таких, как он: тех, кто так долго боролся за правое дело и кому так мало чего приходится стыдиться? Вот тот вопрос, что маргиналы задают своим предшественникам, и словами, и намеками – как Брат Никудышный,

Праведный Дервиш, который, узнав, что Нил Янг в 1980 году призвал голосовать за Рейгана, переписал гимн штата Кентукки «О Огайо!», сменив слова на «О мой голос!».

К сожалению, критика левых отверженными ими почти неизвестна тем прогрессивным деятелям, кому полезно было бы над ней поразмыслить, – размышления такого рода не допускаются в альтернативную прессу. Отчасти потому, что левакам лень реагировать на новую критику от кого-нибудь, кроме правых, отчасти – чтобы скрыть, что есть кто-то, радикальнее их самих. Кроме того, задиристые и грубые политические выступления не вписываются в «ню-эйджистские» неписанные правила, которые предписывают «позитивный подход» – хотя в большинстве случаев беспокоит именно содержание, а не форма.

Так, антиядерные журналы не спешат публиковать эссе Майкла Сунанда, написанное на их же жаргоне, где автор призывает борцов против атомного оружия осознать и публично высказать собственные отнюдь не мирные устремления, скрываемые во имя неправильно понятой идеологии ненасильственных действий. И не то чтобы антивоенные активисты приветствовали эссе «Красота ядерного разрушения», которое подписано Анонимными Антиавторитаристами и начинается со слов: «Перспектива всеобщего уничтожения в ядерной войне адекватна сегодняшнему состоянию повсеместной разрухи, которое придает такому разрушению определенную привлекательность». Движению за мир, определяющему своей целью хотя бы выживание, нечего сказать тем, кого разрушение очаровывает именно потому, что от жизни, посвященной всего лишь выживанию, их тошнит.

Напротив, в среде собственно маргиналов дискуссии приветствуются, а диапазон допустимых мнений очень широк. На ура идут заумные или даже отвратительные темы – от колонизации космоса до опровержения Холокоста. Что-то из этого – просто ребячество: недавно АРА под названием «FreFenZine» представила публике буйный спор между словоохотливыми недоумками: сексизм или не сексизм – не любить Мадонну и СиндиЛаупер. Но хотя большая часть текстов фэнзина «Шутка для своих» написана подростками – включая нескольких, кому под тридцать – там же опубликована проза Ролдо («Темные крылья над Иззи»), КерриВенделлаТорни и Джерри Рейта, которая добавила бы крови любому анемичному литературному журналу.

В такой парниковой атмосфере творческие силы могут расти очень быстро. Несколько лет назад маргинал из Ноксвилла, известный как Рево, так описывал собственные достижения: «Делал коллажи, начиная с 1979 года, фэнзины – с 1980-го, мейл-арт – с 1982-го, кассеты – с 1984-го». При этом, насколько я понимаю, ему не было еще и двадцати лет. Хотя признаки присутствия маргиналов можно встретить на каждом углу, публика пока их не заметила – кроме редких случаев, когда в прессе они описаны как шутники или хулиганы. Сейчас маргиналы со своими талантами и требованиями начинают выходить в мир, и все, может быть, вот-вот изменится.

Артефакты субподпольной культуры понемногу всплывают на поверхность даже вопреки собственному желанию. Маргиналы с литературными склонностями, вроде Джона Беннета и Джека Сандерса, уже многие годы издают книги малыми тиражами. Детройтское издательство «Красное и черное» – живой дух которого Фреди Перлман недавно покинул нас – выпустило серию отлично оформленных книг и памфлетов,

высшая точка которой – написанное самим Перлманом поэтическое осуждение текущей цивилизации «Против Истории, против Левиафана!».

Издательство «Ни-ни» много лет медленно, но неуклонно выпускало журнал «Космические битники», а также опубликовало несколько книг сказок; наконец, в 1985-м оно посмертно выпустило сборник Джерри Рейта «Нейтронная пушка». Перед тем, как распастыся, Анонимные Антиавторитаристы за свой счет и отчасти на материалах, сворованных на работе, выпустили «Увлекательную Субверсию» – сборник лучших плакатов за четыре года. Несмотря на типографскую цензуру, которая в конце 80-х стала самым большим препятствием для выпуска маргинальных книг, издательство «Популярная действительность» (наследник одноименного таблоида) опубликовало книгу карикатур Джона Крофорда, в характерном стиле высмеивающих «Бабуина Дули, рок-критика» – тех карикатур, что сотни раз появлялись в панковских и маргинальных фэнзинах.

Маргиналы, в общем, стараются не вступать ни в какие организации. Большинство и не может никуда вступить, потому что настолько географически (и не только географически) изолированы, что вступать им просто некуда. Неприязнь к организациям (основной предмет спора с традиционными левыми) возникает отчасти из махрового индивидуализма, отчасти из изучения уроков истории современных радикальных движений (где СССР выступает в роли «главного примера») – но, что важно, и просто из-за широкого географического рассеяния. Контркультура 60-х базировалась в университетских городках и в бедных районах, которые в больших городах окружали университетские кампусы. Протест 80-х тоже можно найти в этих местах (особенно в Анн-Арборе, Беркли, Юджине, Мэдисоне, Остине), но после отмены воинской повинности он не сконцентрирован только там – да и нигде. Даже если отбросить отвращение к организациям, маргиналы зачастую оказываются в таких дырах, где просто не с кем объединяться. Для них самих это, может быть, плохо, но для дела – хорошо: хуже всего их деятельность воспринимают пресыщенные космополиты. Известность, потерянную из-за спонтанности, неорганизованности местных протестов, можно компенсировать непосредственностью и относительной свободой от оппортунизма. Маргиналы слишком хорошо знакомы с историей предшествующих оппозиционных движений. «Провал» вроде Парижской Коммуны или испанской революции они предпочитают «удаче» вроде избрания Рузвельта или большевистского переворота.

Невидимость маргинален не обязательно означает бессилие. Плакатные кампании могут иметь эффект – независимо от того, снизойдут ли газеты до упоминания своих конкурентов. В ряде мест «плакатчики» произвели настоящий скандал. Так, в Шеридане, штат Вайоминг, Джерри Рейт так заклеил Мейн-стрит своими маргинальными плакатами, что полиция устроила специальную засаду возле ксероксной лавки, чтобы вычислить его и вынести предупреждение. Позже я был у него в гостях и повторил подвиг – за что Рейту достался визит от полиции и статья на первой странице газеты, правда, без упоминания имени. Я к тому времени уже благополучно смылся и с удовольствием напечатал в той же газете письмо (разумеется, анонимное), где взял ответственность на себя и вдоволь посмеялся над полицией.

За время моего плакатного проекта «Последний Интернационал» (1977-1983) я развесил, должно быть, десятки тысяч афиш. В Джанкшн-Сити, штат Канзас, «мульт-

тинационалиста» Гаррета Майкла О'Хару поймали, когда тот клеивал постерами ветровые стекла запаркованных автомобилей, и полиция устроила ему допрос по обвинению в «измене», поскольку листовки были (или казались) «коммунистического толка». Интернационал маргиналов вступил в бой по методу Международной Амнистии, завалив местную газету письмами в защиту анархии и против полиции (некоторые письма были напечатаны). Дело закрыли.

«Игра в Фолвела», привлекая внимание масс-медиа, началась, как маргинальная шутка. Бессчетные фэнзины опубликовали подробные инструкции, как тратить деньги Морального Большинства: звонить на их бесплатный номер и вешать трубку или, лучше того, регистрироваться как партнер по вере и получить бесплатную Фолвеловскую Библию. Потом Игру поддержали некоторые газеты для гомосексуалистов, и Джерри Фолвел направил свою гневную отповедь именно против них. Даже если бы они отказались от проекта, субподполье – над которым Фолвел возвышается, не замечая его, как господа динозавры над первыми млекопитающими – продолжило бы Игру. Но Игра окончена: маргиналы выиграли. Моральное Большинство Фолвела теперь имеет телефон, не внесенный в телефонную книгу; получив больше миллиона враждебных звонков и заплатив за каждый как минимум доллар, оно даже сменило имя. В моей Фолвеловской Библии есть похожая история – история Давида и Голиафа.

Введенный мной ярлык «маргиналы» вызывает вопрос, на который давно пора было ответить: *кто*, в конце концов, эти люди? Образ, связанный с термином «маргинал» – бродяга, люмпен-пролетарий, – для многих из них адекватен, но с тех пор, как Маркс придумал эту уничижительную формулу, много воды утекло. Некоторые из самых молодых маргиналов – студенты или школьники, живущие дома с родителями, хотя кто-то и беспризорник. Экономическая элита – мелкие независимые бизнесмены вроде Майкла Хоя, издателя «Лумпаникс». Очень многие работают мелкими клерками, часто временно, то и дело меняя место работы, чтобы получить достаточно свободного времени на жизнь – хотя бы и ценой хронической бедности. Кто-то – бывший адвокат, ученый или риэлтер (как Эрнест Манн из «Маленького свободного издательства»). Кое-кому удается выторговать себе пенсию по инвалидности. Все эти самые разные судьбы роднит отвращение к пожизненной постоянной работе на любое начальство. Безработные магазинные воришки и бизнесмены-издатели объединены отвращением – не обязательно к производительной деятельности как таковой – но, неизменно, к постоянной работе на полную ставку, которая не оставляет им времени применять собственные способности и энергию.

Нарождающаяся, конечно, не популярность, но хотя бы заметность, бывает, вызывает упреки со стороны фанатиков ксерокса, которые не доверяют печатному слову. Они боятся, что, фиксируя текст на физическом объекте, издание разделяет читателя и писателя, хотя оба, наоборот, хотели бы найти между собой общее. Даже если не верить, что в типографском издании содержание маргинальных текстов неизбежно фальсифицируется, освещение в прессе зачастую его тривиализует. Пример – Слух-по-Звонку Зака Реплики. Зак с друзьями основал ежедневный телефонный аудиотаблоид, несущий абсурдные новости из альтернативной кэрролловско-кафкианской вселенной, где существуют Якокка Хомейни, ресторан «ChezGuevarra» в Беркли, Трех-

сторонний фонд секулярного гуманизма, и много что еще. Газетные статьи (и даже заметка в «Ю-Эс-Эй тудэй») выхолостили всю серьезность этого сатирического проекта и заменили ее на сусальные «человеческие» истории про Реплику – потому только, что у него парализованы конечности.

Джерри Рейт (1959-1984) – не вполне типичный маргинал, поскольку такового в природе нет, но в каком-то смысле он – квинтэссенция маргинальной культуры. Рейт вырос на ферме в штате Коннектикут. В подростковом возрасте его положили в психбольницу, не знаю, за что, и он так никогда от этого до конца не оправился. Почти сразу он стал анархистом в духе Бакунина и Кропоткина и попал под арест во время антивоенного протеста в Сибруке, штат Нью-Гэмпшир.

Левое антивоенное движение конца 70-х не могло удовлетворить его страсть к свободе – и под влиянием популярных пересказов экономистов австрийской школы, Фридриха Хайека и Людвиг фон Мизеса, которые, казалось, рисовали самоуправляемую рыночную систему социальной свободы. Рейт стал (рыночным) либертарианцем. За многие годы изучения и восприятия других, авангардных, идей – дада, сюрреализма, ситуационизма – он так и не оборвал полностью нити, связывавшие его с либертарианством. В момент смерти он был, кстати, редактором газеты крошечной Либертарианской партии Вайоминга, хотя и объявил, что прекращает участие в ее деятельности (в основном предвыборной).

Рейт уехал на Запад, чтобы учиться в университете (который так и не закончил), и последние шесть лет жизни провел в городе Шеридан, штат Вайоминг – второй по величине город в штате, но с населением в 18 тысяч человек, отнюдь не мегаполис. Рейт работал клерком в мотеле в ночную смену и видел не тот мир, что его соседи. Они его все равно любили – несмотря на идеи, которые на любой из стадий его быстрого интеллектуального роста были равно необычны. Примерно в 1981 году он начал рассылать пробные письма по почте и нашел братьев по духу. Его небольшая зарплата уходила на марки, книги, журнальные подписки и копировальные услуги (ну, и, если честно, на водку и метедрин). В те годы он жил в клоповнике для амбулаторных пациентов ветеранского госпиталя, с которыми подружился (например, читал им вслух «Дон-Кихота»). Какое-то время он играл с единственной, быстро распавшейся, шериданской рок-группой – но гораздо больше времени проводил с теми левыми и либертарианцами, кого можно было найти в городе. С одним из либертарианцев – с тем, кто позже под именем «Сун-цзы» участвовал в книге Рейта «Нейтронная пушка», – он начал осуществлять первый свой самостоятельный политический проект: Миссию Слова Правды.

Объединенные менкеновской ненавистью к деревенским приличиям, они вдвоем написали серию маленьких памфлетов, в которых, приняв Библию абсолютно всерьез, доказали, что на вопросы вроде «Повелел ли Бог устроить Холокост» и «Стоял ли Сатана за Американской революцией» надо отвечать «да». Собственно текст писал Сун-цзы, сын проповедника, но Рейту, ответственному за переписку, пришлось за все отвечать – как только правоверные начали присылать жалобы. Кажется, они перестарались – по слухам, памфлет про Холокост перепечатала неонацистская группа где-то в Джорджии. Та, кто на это пожаловался – подросток-панк по имени КарлиСоммерстейн, – в конце концов сама приняла участие в «Нейтронной пушке», так что

последними посмеялись отнюдь не нацисты. Но суть в том, что с самого первого дня Джерри Рейт играл с огнем.

Скоро Рейт уже писал все и всем – плакаты, сотни писем, политические трактаты, беллетристику, притчи, темные тексты в духе Берроуза, рецензии на книги, даже стихи. Сначала письма, потом статьи и истории шли в АРА, фэнзины, в те неортодоксальные, не боящиеся оскорблений дикие края анархистского и либертарианского движения, которым он отдал так много сил, включая их в общий антиавторитарный диалог. С удивительным успехом Рейт протаскивал свои идеи в местные ежедневные газеты, пользуясь их терпимостью к индивидуалисту-эксцентрику с Дикого Запада – которым он, разумеется, и был. Полиция, однако, оказалась не так восприимчива к его проекту по заклеиванию Мейн-стрит, а один раз его даже арестовали – за то, что он кидал снежки в местный филиал закусочной «Дайри-Квин». Агенты в штатском, следящие за организованным Либертарианской партией антиналоговым пикетом 15 апреля, вызывали в нем параноидальный страх – хотя и не такой силы, как когда он стал жаловаться, что начальник практикует на нем «масонские техники управления мозгами»!

Психи – это увлечение на любителя, которое разделяют немногие; но если Рейт и другие маргиналы – в какой-то степени сумасшедшие, то в любом случае они не только сумасшедшие. Честность и быстро развивающиеся литературные способности Рейта обеспечили ему центральное место в том трансконтинентальном почтовом салоне, где в начале 80-х собрались неприкаянные поэты, художники и радикалы квазилевого толка. Читая запоем все подряд, Рейт стал учителем: политиканам он впаривал Мисиму и Пинчона, правым либертарианцам – рабочие советы, широкой публике – неуважение к религии. Не все соединения оказались удачными – но бытовая мудрость выглядела настолько очевидно бредово, что Рейту приходилось собирать куски для головоломки отовсюду, из всех других мест. Вот к чему всё свелось. Как дело свободы, важное (в любой из многих известных Рейту формулировок) лишь для немногих, может победить, не будучи насаждаемым просвещенной элитой и тем самым обращая собственную победу в поражение?

В неопубликованном рассказе Рейта описана курсовая работа по политологии – удачная социальная революция: не нарушая никаких прав собственности, экономику дара доводят до такой степени конкурентоспособности, что все 500 лидирующих компаний вместе с их союзником-государством просто оказываются скуплены. Истории Рейта из «Нейтронной пушки» ближе к действительности – в качестве катализатора для очистительного катаклизма в них выступают несколько удачно внедренных террористов и киллеров; но частное мнение Рейта было, что такого сорта усилия – например, бомбистов из канадского «Прямого действия» – контрпродуктивны. Что же оставалось?

Образование – как раз то, чем он занимался последние два-три года без какого-либо заметного вознаграждения. У его учеников – в отличие от студентов воображаемого курса по политологии – были свои проблемы, для них более важные, да и разбросаны они были по всей стране. Почти никого из своих ближайших друзей Рейт никогда не видел. Сама тщательность, цепкая систематичность, с которой он подходил к предполагаемым спасителям мира, вызывала отчаяние. Рейт достаточно обоснованно предположил, что если бы в мире существовала реальная стратегия

социальных перемен, он бы о ней услышал хотя бы мельком. В позднем тексте «О невозможности дочитать до анархии» рассказывается, как раньше его радовал почтовый ящик, переполненный анархизмом, и как теперь ящик этот вызывает тоску и скуку. Для такого человека, как Рейт, подобная статья была равносильна предсмертной записке – хотя оставленная им предсмертная записка оказалась более емкой. Возросшие возможности восприятия мира никак не добавляли Рейту возможности его изменить.

Неудачная любовная связь усилила депрессию. Публикация «Нейтронной пушки» без конца задерживалась из-за финансовых и нефинансовых проблем издателя – книга вышла только через год после смерти Рейта. Наконец, почта, которая, как пуповина, связывала его с внешним миром, сработала как инструмент разрушения. Одно из адресованных ему писем было «по ошибке» доставлено в местный полицейский участок, там его передали в ФБР, которое допросило соседей Рейта. Очевидно, обиденного использования таких слов, как «анархизм», оказалось достаточно, чтобы потревожить правительственных агентов Пояса Прерий. Рейт позвонил в ФБР – там отказались вернуть письмо и сказали, что «мы все про тебя знаем». Это была чушь собачья, и Рейт в последних письмах сам так и говорил, но это оказалось последней каплей. В оставленной записке было написано: «Я должен или выкарабкаться, или умереть». На практике он умер – застрелился. По рассказам, он подсчитал все «за» и «против» жизни и смерти и, обнаружив полное равенство, бросил монетку.

Самоубийство молодых людей, потерявших контакт с миром, превратилось в штамп – от мифического Вертера Гёте до не намного более реалистичного Сида Вишеса (кроме того, самоубийство является причиной все большего количества смертей юных американцев.) Рейт типичен для маргиналов не тем, как он кончил (среди маргиналов я знаю всего лишь еще один случай самоубийства), но широтой и силой своих увлечений. Тексты его, хоть и местами тенденциозны, в лучших образцах своих четкие и энергичные, без единого лишнего слова. Он видел вселенную как нечто по сути неупорядоченное и описывал ее, используя виньетки противоборствующих стилей. Юмор, которым пронизано большинство маргинальных текстов, в его случае скорее колкий, чем радостный. При этом далеко не все тексты Рейта – депрессивные или доктринерские. Описывая темы, далекие от ключевых вопросов о свободе и о правде, он мог расслабиться и вдруг стать совершенно очаровательным.

Хороший пример этого – книжная рецензия? инструкция по применению? под названием «Кихот: что с ним делать», напечатанная в антологии Джона Беннета «Хороший день, чтобы сдохнуть». Но для книги «Нейтронная пушка» – наполовину написанной им самим, наполовину его друзьями по переписке – Рейт сознательно отобрал те рассказы, в которых политические вопросы выражались открыто. Он пытался свести счеты с модернизмом, либерализмом, религией, обществом потребления, марксизмом и т.д. – потому что все это загораживало ему дорогу к тому, чего он хотел от жизни. Может быть, он надеялся, что его книга станет «Хижинкой дяди Тома» 80-х? В конце концов, все остальные средства он уже испробовал.

Джек Сандерс сказал, что хотя не бывает неопубликованных великих книг, многие великие книги остаются ненаписанными. Возможно, Рейт был автором некоторых таких книг. Книга, которую он все же успел собрать, – это набор тревожащих знаков и обещание большего. Как антология она может служить введением в американскую

самиздатскую культуру. В ней видно недовольство – более глубокое, чем в ориентированных на конкретные вопросы 60-х, под мостом больше воды. Но насколько оно способно на действие? Вот вопрос, на котором споткнулся Джерри Рейт.

Невеста сына возвращения из-под подполья или Под подпольем II

Через восемь лет после моего обзора маргинальное сообщество в значительной – возможно, в слишком значительной степени – находится там же, где и было в 1986 году. Число участников увеличилось раза в три. Выходят не только фэнзины, но и книги. В либеральных еженедельниках для яппи вроде «Виллидж войс» появляются обзоры, интервью и рецензии. Айвен Стэнг, используя маргиналов как ступеньку вверх, теперь отрекается от них – но именно они в массе своей покупают его салонные альбомы, изданные «Саймоном и Шустером» (на настоящий момент вышло три). Очень небольшое количество литературно ориентированных маргиналов (С.П. Стрессман, Рейн Арройо, Кирби Олсон) проникли в традиционные малотиражные литературные журналы, включая наименее традиционный из них, «Изысканный труп». Но до неизбежной (за отсутствием кого бы то ни было еще) гегемонии маргиналов в некоммерческой культуре остается лет десять, не меньше.

Рядом с моей книгой «Отказ от работы и другие эссе», выпущенной в 1986 году, на книжной полке типичного маргинала теперь стоит много другого. Книги таких участников движения, как Джон Крофорд, Эд Лоренс, Л.А. Роллинс и Хаким-Бей, я прославляю в других главах этого тома. Из антологий с большим количеством маргинального материала следует назвать «Semiotext(e) U.S.A.», антологию журнала «Популярная действительность» и невероятно расширенное второе издание книги «Лучшие хиты Лумпаникс». Меньшие количества можно найти в «Культуре Апокалипсиса» (под редакцией Адама Парффри), в книге «Проповеди и подстрекательские листовки» (под редакцией Парффри и моей) и в выпуске «Re/Search», посвященном «Розыгрышам». Отрицательные примеры – книги, изданные «Переработанным миром» и субгениями. Самая, возможно, необычная антология – это «PozdraviizBabilona» («Поздравления из Вавилона»), перевод североамериканских маргинальных текстов на словенский, отредактированный мной и Грегором Томичем и выпущенный в 1987 году в том, что тогда было Югославией.

Два маргинальных издательства, «Лумпаникс Анлимитед» и «Амок» (распространяющие свои книги по почте), добились такого успеха, что попали на деловую страницу «Ньюсуик». («Амок Пресс» как отдельная сущность больше ничего нового не публикует, но публикуют его наследники – «Бласт» и «Ферал Хаус».) Кое-кто из нас, ветеранов, получил возможность наблюдать собственные труды в виде книги: Джон Зерзан, «Элементы отказа» («LeftBankBooks»), Эд Лоренс, «Переоткрывая колесо... кармы» («BombShelterProds»), Эрнест Манн, «Я, Робот» («Little FreePress»), а также «Бластер», антология Эла Акермана. Хотя маргинальные издательства проходят и уходят – так, издательство «Ни-Ни», выпустившее в 1987 году новое издание «Ней-

тронной пушки», больше не публикует – но некоторые, такие как «Аутономедиа» и «Лумпаникс», наверняка будут помогать маргиналам все 90-е.

«Лумпаникс» – не единственное предприятие, вышедшее в высшую лигу. Издательство «Скорбный жнец», первым опубликовавшее «Хаос» Хаким-Бея, ушло из малотиражного издательского бизнеса потому, что владелец его, Бретт Резерфорд, начал продавать романы ужасов крупному мейнстримному издательству. Напротив, Том Метцгер, хотя и продал два романа «Новой американской библиотеке», продолжает публиковаться под именем Зиккурат. Метцгер надул НАБ, убедив их, что его закрученная сатирическая басня с моралью «Большой Герл» – это всего лишь роман ужасов, слегка отошедший от принятых формул.

Другая история маргинальной золушки совсем не смешна. Когда в «Под подпольем» я писал, что даже 14-летние могут вести по почте культурную жизнь, то имел в виду конкретный пример – ЭвелинЛау, подающую надежды писательницу из невыносимой семьи, которая выпускала фэнзин «Голубиный помет» и переписывалась со мной. В 1989 году «Харпер и Коллинс» опубликовали массовым тиражом ее книгу «Беглянка: дневник уличной девочки». Книга, надерганная из ее дневников и частично литературно обработанная, описывает два года жизни в качестве проститутки и наркоманки, сопротивляющейся любым попыткам вернуть ее к родителям. Это худший кошмар любых родителей – Дражайшая Мама и Драгоценнейший Папа, выведенные в книге, которая лежит на полке в любом супермаркете. Я говорил Эвелин, что в ее возрасте независимая жизнь невозможна: все, что она могла продать (цитируя ее книгу), – это, «как кто-то сказал, моя задница». Вот этим она и занялась. Последнее «ура» мне, консультанту по профессиональной ориентации. Этот «кто-то» был я, цитата приводилась веефэнзине. Книга наверняка честная: автор выглядит в ней обычно жалко, порой отвратительно – девочка, прибитая чувством вины, ненавидящая секс, полная саморазрушения и депрессии. Все, что у нее было, – это убежденное стремление стать писательницей. Я говорил ей, что первым делом ей надо написать собственную историю. Пересказав свой опыт, свои страдания, она смогла оставить их за спиной. Что ж, наверно, не все мои советы плохи.

Увлечение книгами, скорее всего, продлится – как говорит ДжейкобРабинович из «VerlagGolem», на издание фэнзина нужно столько сил, что с тем же успехом можно печатать книги. Пусть какие-то маргиналы увязают в трясине бизнеса – например, преп. Ломик из издательства «Популярной действительности», которому в итоге пришлось оптом продать «Лумпаникс» большую часть тиража книги Джона Крофорда, – их всегда сменяют другие. Есть книги, которые давно пора выпустить – КирбиОлсона, Джерри Рейта, Джима Вита, ЛэнаБракена и других. Кто-то обязательно должен собрать антологию авторов-женщин. Мы с Джоном Ф. Келли пришли к выводу, что нужен и юмористический сборник. Думаю, что и плакаты Эда Лоренса заслуживают полноценного собрания. «Блядь поэты» Черил Таунсенд, Том Андрола и другие. «Неологи», которых Джоф Хьют собирает в своем «Тонком журнале грубого словоупотребления». Сборники лучших статей из всего – от «Vague» до «Пятого сословия». Возможностей масса.

Но, несмотря на книжный бум, сердцевина субандеграунда – по-прежнему самиздатские журналы. Для «Популярной действительности» не нашлось единого продолжателя – теперь приходится собирать целую пачку: среди лучших образцов

«PhotoStatic», «Mallife», «ХУУ», «Сумерки идолов», «Feh!» и «Анархия: журнал вооруженных страстей». Самый плохой из хорошо известных фэнзинов, «Шутка для своих», прекратил выходить в 1991 году. Несколько отличных журналов появились после моей статьи 1986 года, но скончались до того, как я сел писать этот текст, – например, два фэнзина из Бостона, которым я был крестным отцом: «Анафема» и «Неодобренные теории». Это было уже после того, как с моим изгнанием из «Ошибочно положительного», журнала Донны Косси, все слишком поздно поняли, что журнал был плодом совместного творчества, а я был в нем незаменим. Кроме того, сколь бы несомненно американской по происхождению не была маргинальная культура, сейчас есть аналоги за границей: фэнзины процветают в Финляндии, Греции, Мексике, Бразилии, а «Vague», возможно, лучшее маргинальное издание в мире на настоящий момент, выходит в Лондоне. Меня самого, если на то пошло, перевели на французский, немецкий, голландский, словенский и итальянский.

Труднее определить и описать перемены в темах, стиле, смысле и вкусе. Культура маргиналов – это культура временная, и в этом ее постоянство, ее умение выживать. Включиться в игру легко, еще легче выйти из нее, когда надоест. Некоторые из когда-то выдающихся игроков отошли от дел. Гаррет Майкл О'Хара пропал без вести. Джон Крофорд когда-то был самым вездесущим маргиналом – любой панковский журнал был бы неполон без его комиксов о Бабуине Дули – но теперь, по слухам, его тошнит от тусовки и он только изредка заправляет в ручку чернила. Его место в пространстве, но не в головах занимает сейчас бездарный либеральный недоебок, вонючий хиппи «ЭйсБеквордс». (Медаль за вездесущность сейчас принадлежит Полу Вейнману, чьи стихи про Белого Парня заполняют бесчисленные дыры.) Карлотта Соммерстейн и «КрисЭсти» – только два примера из числа давешней панковской аристократии – сейчас ни в чем не участвуют. На каждого уходящего приходится пять новичков – тех, для кого сообщество по-прежнему в новинку, полно жизненной силы, радикально, требует участия – и они радостно заново изобретают колесо. А некоторые из нас, тех, кто в сообществе давным-давно, в том числе я, заняты примерно тем же, что и всегда; иногда это чертовски здорово, например, когда дело касается Тома Метцгера, Джима Вита, Эда Лоренса, Норберта Урода («Тошнотный подросток»), Давида Гринбургера («Планета-Дуплекс») и Бластера Элла Акермана. Сии неподражаемые знают, что делают, и пусть делают и дальше – хотя нельзя отрицать, что многие другие упорно делают вещи, забытые до смерти.

Возможно, самое полезное приобретение, сделанное маргинальным сообществом за последнее время, – это те, кого можно назвать «образованными маргиналами». В конце 80-х к чрезмерно образованным типам вроде меня и Джона Зерзана присоединились другие, если можно так выразиться, интеллектуалы. Все это скорее всего началось в 1985 году, когда «Semiotext(e)» начал искать материалы для выпуска «U.S.A.» – и эти поставщики эзотерической иностранщины, Бодрийера, Делёза, Вирилио, Гваттари – всей косою команды, оказались выброшены на действительно иностранный берег – берег их собственной страны. Хаким-Бей хоть и не закончил университет, тем не менее, самый типичный образованный маргинал – постарше среднего, хорошо знающий несколько областей (в его случае анархизм, ислам и поп-физику) и честно верящий, что маргинальное сообщество – это самое то, поскольку прожил достаточно долго и помнит, что было *до того*. Насколько я помню, дебют Бея среди маргиналов

– это письмо в редакцию «Искры», живого, хоть и недолго прожившего журнала неортодоксального анархизма, который издавал Стив О'Киф; но по-настоящему заметили его начиная с 1985 года, после появления «Хаоса» и других больших текстов. Примерно в 1987 году появился протеже Хаким-Бея Джейкоб Рабинович, написавший «Луи-Луи: гомосексуальную научно-фантастическую сагу» (название не соответствует содержанию – ну, не вполне соответствует – но зато как читается!) и некоторое время издававший «Вестник мавританской науки» – специалист по греческому, латыни, ивриту, идишу, французскому, немецкому и порнографии, и кроме того, чуть ли не единственный в субандеграунде сионист. Недавно он закончил диссертацию по классической филологии, которую собирается опубликовать «Аутономедиа», и уехал в Израиль.

Последний пример – Кирби Олсон, тоже аспирант (специализируется на французской литературе), который с равным успехом переводит забытых сюрреалистов вроде Филиппа Супо и впаривает «Хастлеру» подписи к порнографическим картинкам. Только что он защитил кандидатскую диссертацию. Все эти образованные маргиналы за тридцать действительно знают то, чем младшее поколение только хвастается (типичный маргинал – это белый мужчина двадцати с чем-то лет, студент или недавний студент). Они возвратили маргиналам историческую перспективу, о самом существовании которой большинство и не подозревало. Их сексуальная раскрепощенность (из троих перечисленных один натурал, один педофил и один «неудавшийся гомосексуалист» – и все отлично пишут порнуху), владение языком и историей, готовность делиться знаниями – все это подарило маргинальной среде новое измерение.

В целом мы видим быстрый рост сообщества, некоторый прогресс и очень мало перемен. Коллажи и компьютерные рисунки в журналах типа «Ретрофутуризма» Леона Данна лучше, чем когда бы то ни было; то же можно сказать и о бесконечном потоке артефактов, производимых в Мэдисоне совместно «Микелем Анд» и «Лиз Was». Кассетной культуры так много, что выходит целый журнал рецензий «Гаджуб». Некоторые журналы, например «Mallife», выпускают отдельные номера в аудиоверсии. Есть авторы, которые занялись эзотерической словесной заумью – тем, что Боб Груманн называет «экспериодикой», – хотя мое восприятие таких вещей ограничивается неологизмами джойсовского типа, любимым предметом Джоффа Хата. Недавняя мода – или давнишняя, но мной незамеченная (что тем дальше, тем вероятнее)? – пересылать разного рода артефакты по почте, всякие маленькие странные штучки, влетающие в почтовый конверт. Телефонные шутки вроде игры в Фолвела по-прежнему популярны: кто-то даже выпустил книгу бесплатных номеров, принадлежащих разным нехорошим людям – первая в мире телефонная книга, специально предназначенная для хулиганства. Несколько маргиналов увлеклись очень цельной субкультурой, субкультурой татуировок – они заходят куда дальше, чем герои фильмов типа «Мать» и «Рожденный для беспорядков». Не удивлюсь, если в будущем татуировки вытеснят кольца в носу.

Среди маргиналов появились новые жертвы: поэты Брайан Клемонс и Лорри Джексон умерли от передозировки героина, большинство из нас более чем наслышаны о проблемах Боба З. с санитарной полицией из-за расклейки плакатов (с каких это пор плакаты негигиеничны?) и о суде над Джелло Биафрой за непристойность

(он сбежал). Со своей стороны, маргиналы тоже внесли в цензуру свой скромный вклад. «FactSheetFive» (теперь сменивший владельца) специально изменил правила только для того, чтобы вещи, нерегулярно посылаемые мне по почте, попали в список нерецензируемого. А «FreFenZine», «единственная либертарианская научно-фантастическая АРА в этой блядской Вселенной», нарушила собственное правило публиковать все и задержала письмо с издевками в адрес одного из издателей, обкуренного ШонаХау, при этом прикарманив деньги, посланные мною на изготовление ксерокопий. Сообщники Хау по воровству – его подстилка Сара Овенал и Сет Дж. Ферс, продавец, обналичивший мой чек на 17 долларов. Это, конечно, блядство, но никак не либертарианство. Кроме того, меня отказалась печатать квазипролетарская АРА «Журнал дискуссий», почтовый приют для престарелых леваков, который содержит Фрэнк Джерард.

Далеко не все наслаждаются тем самовозвеличиванием, которое одно время олицетворял собой «FactSheetFive». Кое-кому надоели и слова «маргинал», и «фэнзин», и то, что эти слова обозначают. Хотя плагиат полезен, рутинное повторение вызывает лишь жалость. А любой рост после определенной точки становится злокачественным – посмотрите на «FactSheetFive», бывшего владельца которого возили на самолетах по всей стране, да и в Европу, чтобы делиться опытом. Сообщество возникло как объединение нескольких пересекающихся подпольных культур, и если оно еще вырастет, то может распасться на составляющие элементы.

Панки, художники мейл-арта, фэны научной фантастики, анархисты и все остальные вернутся каждый в свою изолированную среду – настолько, насколько они вообще ее покидали. Половина достоинств субандеграунда сохранится – самиздатские публикации, дающие возможность каждому лично участвовать в действии. Но другая половина будет потеряна – сила, присущая гибридам, результатам перекрестного скрещивания разных выразительных средств, та сила, которая сейчас характерна для большей части маргинального творчества. Возможность говорить останется, желание слушать начнет пропадать. Возвращение к специализации вернет в маргинальную среду социальное разделение труда – то, чему они бросили вызов своей синкретической практикой, в чем и была их основная заслуга – неважно, знают они об этом или нет.

Лучший книжный каталог в мире

Помните каталог «Вся Земля»? Самодостаточность, личный рост, утопические предвидения, новейшие технологии? Это было вчера; теперь наступило сегодня. Обновленный Главный Каталог от «Лумпаникс Анлимитед», темной стороны Силы: темы те же, намерения и взгляды – совсем другие. Перед нами «CoevolutionQuaterly», безжалостно переписанное Фридрихом Ницше. В нем наверняка можно найти поваренную книгу с рецептом хоббита в винном соусе. Наступило сегодня, наступили жесткие времена; добряки приходят на финиш последними. В «Лумпаникс» работают визионеры, своего рода мистики – но не дурачки. Рембо – гений, но если он хочет чего-то добиться, ему лучше подражать Рэмбо.

Это или худший, или, как скромно пишут авторы, лучший книжный каталог в мире. И авторы, и читатели его – люди, стремящиеся к свободе и потому полагающие, что надо стремиться к власти. В конце концов, граница не то чтобы очень четкая. И «Лумпаникс», и его клиенты – по крайней мере на словах – не особенно ограничивают себя в выборе средств для достижения цели. Многие книги, которые можно купить через этот каталог (и почти нигде кроме), обучают вещам, которые в лучшем мире (может быть, даже и в этом мире) хорошо бы позабыть. Тут есть и шеститомная эпопея Джона Миннери «Как убивать», и «Библиотека пыток», и руководство по вскрытию замков Эдди-Отмычки. (Многие авторы по понятным причинам используют псевдонимы, и псевдонимы сами по себе достаточно красноречивы: «Адам Нал» («Партизанский капитализм»), «Рекс Хищный» («Как кинуть торговца наркотиками»), «РагнарКраснобородый» («MightisRight – Правда в Силе»), д. юр.н. «Х» («Как мошенничать с налогами»), и т.д.) Жуть какая, а?

Не волнуйтесь – по крайней мере, не слишком волнуйтесь. Несмотря на заявленную аморальность и эгоизм, «Лумпаникс» заслуживает куда большего доверия, чем типичное издательство, торгующее по почте – так же, как атеисты, как правило, более порядочны, чем христиане. Причина тому – собственный интерес. «Наши книги настолько спорны, – пишет в Предисловии «владелец» Майкл Хой, – что журналы не принимают нашу рекламу. Книжные магазины и распространители не берут наши издания. Периодические издания отказываются рецензировать наши книги». (Обычно.) «Лумпаникс» издает маленькими тиражами много книг с ограниченным рыночным потенциалом, и потому вынуждено сохранять высокие цены. Поэтому клиентов приходится культивировать и опекать.

Кто же такие эти клиенты? Я не знаю (да, «Лумпаникс» предлагает список подписчиков, но вы можете отказаться от этого, отметив соответствующую графу, и разумнее всего именно так и поступить). Но я сомневаюсь, что это те самые хорошо вооруженные, высокотехнологичные, тренирующиеся на выживание, принимающие вещества, практикующие боевые искусства, торгующие на черном рынке, уклоняющиеся от налогов, подделывающие бумаги, помешанные на здоровье, свободо-

мыслящие дискордианские мастера преступного мира, каких можно представить себе по выдержкам из каталога. Скорее это духовно неуспокоенные граждане с философским складом ума, загнанные на рутинную работу и мечтающие о бегстве – о «вону» (неподверженность принуждению, достигаемая через удаление из общества), о колонизации космоса, об увеличении срока жизни, чтобы скоротать тяжелые времена, о великой удаче. Их обнадеживают книги, которые выставляют напоказ презрение к нормальной жизни и описывают фантастические возможности, причем всегда в патентованном закоренело-рационалистическом духе. Я бы предположил, что типичный читатель «Лумпаникс» – это сюрреалист, прячущийся в теле младшего научного сотрудника.

Так что не думаю, чтобы статистика преступности менялась в ту или иную сторону ни из-за текстов по защите от преступников, ни из-за самоучителей по разбою – разве что чуть-чуть – из-за руководств по харрасменту и по уклонению от налогов. Знания, изложенные в этих книгах, разумеется, не нейтральны, но имеют две стороны. Если кто-то это все знает, почему не ты? – говорят люди из «Лумпаникс». В частности, они – гордо аттестуя себя как «безумный край либертарианского движения» – утверждают, что раз правительства знают о насилии и грязных уловках все, что можно, то и частным гражданам хорошо бы все это выучить. Это было бы легковесным и риторическим тезисом, если бы не следующий наводящий на размышления факт: многие книги по Темным Искусствам, выпущенные «Лумпаникс» – всего лишь перепечатки секретных правительственных брошюр, таких как «Скрытое наблюдение и электронные средства слежения» и «Справочник по преодолению заграждений» («обязательное чтение для каждого ядерного террориста!»). И хотя книги вроде «Как основать свою собственную страну» и «Атомное оружие, сделанное в гараже» кажутся абсурдными, они, тем не менее, прямо ставят совершенно не абсурдные вопросы, например: «Если мне нельзя иметь собственное ядерное оружие, то кому можно?»

«Лумпаникс» окольными, неожиданными путями ставит под сомнение религиозное поклонение институту национального государства. Как высказался один из их авторов, «мир перенаселен людьми, которых надо избить». Но эти самые люди – чиновники с крысиными мордами, правительственные и корпоративные, и их прихлебатели – скорее всего и дальше будут раздавать куда больше ударов, чем получать, причем не читая, как сделать самопал и обращаться с боевой дубинкой, а занимаясь своей неизменной повседневной работой.

Философия «Лумпаникс» такова: так как угнетения можно избежать, оно добровольно. Утверждается, что вполне можно выжить и даже благоденствовать в тяжелые времена, ожидая утопического спасения, и даже, если так выйдет, без этого ожидания. Все сказано в заглавии одного из руководств по борьбе с преступниками (написанного бывшим эком): «Не будь жертвой!» В целом, эту идеологию индивидуалистического самоосвобождения можно назвать «анархо-капитализмом», однако «Лумпаникс» без смущения публикует левые или постлевые тексты, которые вписываются в общую философию и, тем самым, скорее всего, еще более обостряет свои и так непростые отношения с традиционным либертарианством. Издательство опубликовало и «Аргументы против либертарианской политической партии» Эрвина Штрауса, и «эго-коммунистическое» эссе «Право на жадность» группы «Для

себя». Распространяют они также «Революцию обыденной жизни» Рауля Ванейгема, швейцарское леваческое введение в патологоанатомию «Без следа» и классический труд Поля Лафарга «Право на лень» («немного коммунистической пропаганды добавит вкуса любому каталогу»). «Лумпаникс» подчеркнуто отстраняется от анальной зажатости, типичной для либертарианцев – которые не станут читать книг вроде «Выиграй в покер, брось работу и спи каждый день до полудня». Даже решительные антигосударственники не хотят знать, «Как получать пособие по безработице (даже если у вас нет на это права)». (Мини-рецензия на эту книгу: наводит на размышления, но для всех, кто не живет в Калифорнии, изложение слишком обобщенное; даже в Калифорнии правила меняются слишком часто, и безрассудно просто следовать готовым рецептам. Один из моих бывших друзей, который использовал основную уловку – создал фальшивого «бывшего работодателя» – попался, и был вынужден вернуть все деньги.) Глянцевый либертарианский журнал «Разум» запретил всю рекламу «Лумпаникс» под тем предлогом, что реклама «Права на жадность» была «оскорбительна» (читай: смущала правоверных либертарианцев) – что выдает некоторое неверие в корректирующие механизмы свободного рынка.

По мелочи «Лумпаникс» также представляет собой ценного производителя переизданий – его цены получаются ниже, чем у академических издательств этого профиля, рассчитанных на неограниченный бюджет университетских библиотек. Издательство выпустило факсимильное переиздание истории «Анархизма коренных американцев», написанной в 1932 году Юнисом Минеттом Шустером, а также перебранное издание социал-дарвинистского манифеста «Рагнара Краснобородого» «Правда – в силе». Также распространяется «Эго и его право» Штирнера, «Не измена» Лайсендера Сггунера (классический труд 1867 года, автор которого, аболиционист, превратившийся в анархиста, доказывает, в сущности, что Конституция неконституционна), и труды Х.Л. Менкена о Ницше. «Лумпаникс» издал классический дискордианский текст «Principia Discordia» – откуда пришла мифология, прославленная лучше известной и более многословной трилогией «Иллюминаты!», а также «Фонд «Всемирная власть»: цели и платформа» – призыв к новому, нерасовому всеобщему рабству, которое должно удовлетворить потребность многих в подчинении и немногих – во власти. Вот два ключевых постулата: «Удовольствие важнее, чем равенство» и «Правда не только в силе, но через несколько лет разницы никто не заметит».

Руководства по мошенничеству – это в некотором смысле идеальный продукт: не нужно ни встроенное устаревание, ни издательские фокусы; успех книги на рынке сам по себе вызывает к жизни поправки и контрмеры, из-за которых книгу приходится переписывать и переиздавать. Таким образом «Путешествие в мир бумаг I» породило «Путешествие в мир бумаг II» и несколько клонов – во всех них рассказывается, как создать для себя снабженную всеми документами новую (или альтернативную) личность. Лучше займитесь этим сейчас – пока Конгресс не ввел общенациональное удостоверение личности! Точно так же налоговая служба закрывает лазейки в законодательстве с той же скоростью, с которой дорогие адвокаты находят их; к тому моменту, когда «Лумпаникс» передаст информацию простым людям, она может уже устареть. На самом деле, в самом увлекательном, не считая каталога, издании – «Лучших хитах "Лумпаникс"» (статьи и интервью, собранные из каталогов и дополнений к ним за несколько лет) – есть предостерегающее «интервью о налогах с адвокатом-

либертарианцем», где прямо сказано, что многие любимые уловки протестующих против налогов – например, утверждение, что банкноты Федеральной резервной системы не являются законным платежным средством – это полная ерунда, за которую вы скорее всего попадете за решетку. Действительно богатым и по-настоящему жадным «Лумпаникс» вряд ли может что-нибудь предложить – для грязной работы у них есть дорогие адвокаты и доктора юридических наук. «Лумпаникс» пытается демократизировать знание – для чего вместе со всеми руководствами против налогов продает, например, юридические самоучители либерального издательства «Ноло Пресс» из Беркли.

Некоторые книги издательства без необходимости растягивают небольшое количество полезной информации. Все осмысленные идеи в их руководствах по харрасменту, скорее всего, можно было бы вместить в один обычного размера том. Книга «Как мошенничать на экзаменах в колледже», даже не будь она чрезмерно растянута, все равно была бы слишком дорога (42 страницы, 4,95 долларов). Когда я работал ассистентом в колледже, я дал эту книгу профессору, читавшему лекции для студентов в четырех самых престижных в стране университетах. Через некоторое время он вернул ее и без всякого энтузиазма сказал, что там нет «ничего нового» – ничего такого, что бы он уже не знал и не принимал обычных мер предосторожности. (Само собой, это не значит, что все это никогда не работает.) А в одном из руководств по харрасменту издания «ДезертПабликешнс», якобы написанном каким-то байкером почти нацистского толка (в настоящий момент книга из каталога исключена), предлагалось несколько неоправданно рискованных идей, за которые вас с большой вероятностью арестуют, а о некоторых уголовно-наказуемых деяниях, за которые читатель попал бы в тюрьму как минимум на несколько лет, самоуверенно говорилось, что они вообще не запрещены законом! Так что, как всегда – *caveatemptor*.

Да, и еще одна вещь. Почему «Лумпаникс»? Я не смог догадаться, пришлось спросить. Оказалось, что первая (сейчас полностью распроданная) книга, которую выпустили будущие «Лумпаникс», – это индекс к журналу «НейшнлЛампун». «Лампуникс» – «Лумпаникс». Ну да, меня это тоже разочаровало.

Итак, к чему же все это приводит? Конечно же, не к беспределу боевых искусств. При том, что число легальных единиц огнестрельного оружия в этой стране измеряется шестизначными цифрами, довольно глупо беспокоиться, что «Лумпаникс» продают книгу по выделке самодельного ружья. Кроме того, заметный процент всех убийств – это дело именно полиции; они читают оригиналы, и репринты «Лумпаникс» им не нужны. Подобно порнографии, книги «Лумпаникс» не столько побуждают к греху, сколько заменяют его. Из книг по самообороне действительно важны не те, где учат метать ножи и фехтовать опасными бритвами, а те, где объясняется, как вообще не попадать в ситуации, в которых единственный выбор – сопротивляться или сдаваться.

Читатели «Лумпаникс», которые совпадают с ними по настрою – так, как я его понимаю – ищут свободы посредством ухода в частную жизнь, скорее избегая, чем приближаясь. Возможно, что коренное стремление «Лумпаникс» выражено в книге «Бону: поиски личной свободы». Автор, «Райо», в 1960-е годы поверил в то, что разумному индивиду следует самостоятельно попытаться достичь невидимости для властей – в такой степени, какой только можно добиться, правильно перестроив свой

образ жизни. В конце концов этот человек довел свою логику – а он был беспощадно логичен – до практического завершения. В 1974 году он исчез. Как пишет редактор книги, «его целью всегда было стать невидимым для насильников (под чем понималось в основном правительство). Возможно, он пришел к выводу, что для этого необходимо стать невидимым для всех вообще». Само собой, это совершенно дико – а кто-нибудь знает менее радикальный, но зато реальный способ стать свободным? Я не знаю. Однако в каталоге «Лумпаникс» есть на этот счет некоторые интересные соображения.

Французская болезнь

Подобно многим, я с почтением признаю невероятно значительный вклад французов в мировую цивилизацию. Что нам нужно, так это придумать, как сохранить этот вклад, но избавиться от французов. Возможно, их надо держать под домашним арестом и выпускать под охраной – с чем превосходно могли бы справиться немцы – только для того, чтобы они могли писать книги, готовить еду и надзирать за свиньями, пока те вырывают из земли трюфели.

Почему французы такие лапочки, понять трудно. Когда-то они играли большую роль в мире, который был маленьким. Они выдохлись еще раньше англичан и еще медленнее осознают этот факт – тем более учатся получать от него удовольствие. Среднее количество наглости на единицу бессилия среди них непозволительно высоко.

И выглядят они не так чтобы очень! Французский прононс требует таких упражнений в мимических судорогах, что к половой зрелости у всех у них на лице вертикальные морщины. Когда превратности возраста и образа жизни добавляют на их лица обычные морщины по горизонтали, лицо француза превращается в доску для игры в крестики-нолики. Будь Дориан Грей французом, его портрет пришлось бы писать Мондриану.

«Ад – это другие», написал как-то раз один известный француз. Другие – иностранцы, евреи, протестанты, эльзасцы, даже бельгийцы – ответственны за большинство лучших произведений французской культуры. Встарь весь хребет их армии состоял из шотландцев с ирландцами; теперь грязную работу делает Иностраннный легион. Их короли, зная своих подданных, предпочитали доверять собственную охрану швейцарским гвардейцам. В этих наблюдениях нет ни капли шовинизма – разумеется, французского слова. Друг друга французы любят не больше, чем всех остальных. Да и что может посторонний сказать французам о вкусе? Лучшее, что они когда-либо изобрели, – это позиция 69.

Марко Поло фундаменталистов подполья

Ги Дебор как-то раз выпустил книгу в переплете из наждачной бумаги. Идея была в том, чтобы книгу нельзя было поставить на полку, не изрезав соседние. Идея хорошая – но Хаким-Бей переплюнул Дебора. Он выпустил книгу с наждачной бумагой *внутри*.

Хаким-Бей, крезанутый суфий – Марко Поло маргинального сообщества. Пока мы дома тихо-мирно подвергались воздействию энтропии, он, американец, все 70-е годы провел на Востоке. В Иране он превратился в аборигена. Когда этого оказалось недостаточно, он опять превратился в аборигена – на этот раз в стране собственного воображения, в ТерраИнкогнита, морские чудища которой не смогли его растерзать. Бей мечтает увидеть свою родину на карте – на тропическом острове, на астероиде, неважно где.

Бей известен мешаниной пристрастий – анархия, теоретическая физика, фэнзины, наркотики, исламские ереси, пригожие мальчики – причем все это в его руках как-то сливается воедино. Бей синкретичен, и он вернул в синкретическую религию грех. Он автор и бесчисленных эссе, и романа «Кроустоун» – лучшей и единственной в мире порнографической фэнтези про любовь между мальчиками и мужчинами; а кроме того, экстатических визионерских анархо-арабесок из книги «Хаос: дацзыбао онтологического анархизма». «Кроустоун» и как фэнтези (барочно-декадентская, в духе, например, Джека Вэнса), и как жесткое порно поражает тем, как одновременно доведены до совершенства и объединены оба жанра – его пародия, как пародии Филдинга, вполне вытесняет собой пародируемый объект.

Хаким-Бей не просто житель Богемы-Богемии – он таборит. Его «Хаос» – это камень, брошенный блином на поверхность моря спокойствия. Хаким-Бей – извращенец и этого не стыдится; он предпочитает быть сдвинутым, а не членом движения. Он эрудит и абсолютно искренне развлекается самим процессом мышления. «Хаос» кричит б радости, требует чудес без конца и начала, Коммуну Королей, где «твоей неотъемлемой свободе для полноты только и недостает, что любви остальных монархов».

«Онтологический анархизм» Бея – возможно, наименее удачная из его фраз. Хаким-Бей хочет поймать (и утащить в свое логово) романтические и зловещие коннотации анархизма – но рискует получить в нагрузку побитый молью багаж секты-неудачницы, которая сама бросила свое единственное оружие, заявив, что «анархия не есть хаос». (Если так, то тем хуже для анархии.) Бей знает, что он не для «идеологических либертарианцев» – а они, конечно, не для него.

«Хаос» – это не перепевы ни Strum-und-Drang, ни сюрреализма, ни чего-нибудь еще в этом роде, хотя местами он и приближается к ориентальной фантастике, вроде бульварных романов о Фу Манчжу – если бы их написал Жерар Нерваль. Даосы,

дервиши, ассасины во хмелю, змеи кундалини, китайцы, употребляющие порох только для праздников и чтобы пугать духов – вот жители того несбыточного Востока, где Бей, как пресвитер Иоанн, правит чудесным царством.

Не то чтобы Хаким-Бей питал большее почтение к Западу – ни к своим предшественникам из Мэриленда, По и Менкену, ни к луддитам, ни к рантерам, ни к террористам с площади Хеймаркет. Современный город, очевидно – лишь сцена для предлагаемых им преступлений и издевательских розыгрышей. Но Бей суров к западным чинушам, доктринерам от провокации: «Сюрреалисты опозорились, променяв безумную любовь, amour fou, на машину иллюзий абстракционизма – в своем бессознательном они искали лишь власти над другими, и в этом уподобились де Саду (который желал «свободы» только для взрослых белых мужчин, чтобы бы им удобнее было расчленять женщин и детей)».

Упомянув amour fou, надо сказать, что Бей прославляет порок, не ставший еще, в отличие от гомосексуализма, выгодным вложением для успешной интеллектуальной карьеры. Ему нравятся мальчишки. Его глава о «Диких Детях» похожа на раннего Берроуза (или же на позднего Берроуза, который похож на раннего Берроуза) – не только тем, что Бей питает страсть к Диким Мальчишкам, но и тем, что они для него «природные онтологические анархисты, ангелы хаоса», невинные создания, чей Эрос дает им право учить взрослых, а не учиться у них. Бей пишет (во многом принимая желаемое за действительное): «У нас общие враги и общий способ торжествующе натянуть им нос; навязчивая и безумная игра везде и во всем, питаемая призрачной гениальностью волков и воспитанных ими детей». Ага, расскажи это суду...

Анархизм, дай ему волю, превратил бы госпиталь для душевнобольных в пансион для душевнобольных – анархия сделала бы из него фаланстер. Анархизм легализует наркотики, анархия их употребляет. Анархия – это хаос, а «Хаос» – это анархия.

Ницше против гуманизма

Обзорная статья Роберта Шиффера по ницшевской психологии христианства («FreeInquiry», зима 1988) была бы вполне пригодна к работе, хотя ей и недостает блеска оригинала – вот только недостает ей гораздо большего.

Почему-то автору не пришло в голову упомянуть – а может быть, и вообще не пришло в голову – что Ницше, критикуя религию, тем самым критикует мораль вообще и гуманизм в частности. Ницше такой же гуманист, как нацист – новый миф так же глуп, как и старый. Ницше не думал, что гуманистические ценности можно или нужно отделять от христианских догм. Напротив, он считал, что по большей части эти ценности такие же симптомы болезни, как и догмы – поскольку секулярная мораль была для него ничем иным, как религиозностью в современной одежде: гуманизм – последняя стадия затухающей веры.

Ницше отрицал консерватизм, либерализм, прогресс, равноправие и стремление к свободному обществу. Все это для него были устаревшие музейные побрякушки. Науку он называл «предрассудком». Ницше так настаивал, что все это вытерто и обесмысленно, что прогресс – ключевое понятие – стал казаться ему главным препятствием для свободной мысли. В противовес этой химере он вынужден был принять странную метафизику «вечного возвращения» – рецидив буддистского фатализма его первого учителя Шопенгауэра. Но это показывает, до чего готов был пойти Ницше, отрицая и клеймя всяческий гуманизм и либерализм.

Бог - это выдумка, но отражения его в живом опыте реальны, хотя и смутны. То же и *Человек*. Никто никогда не встречал ни Бога, ни Человека; но обычные, конкретные люди, мужчины и женщины, реально переживают то, что они интерпретируют как священное или нравственное. Ницше отрицал интерпретацию, но признавал переживания (поступить иначе было бы ненаучно). Гуманизм должен преодолеть собственные ценности, приличные суррогатному божеству, и непосредственно заняться теми переживаниями, которые выводят нас за рамки неполноценной реальности повседневной жизни. Он должен стать более, а не менее ницшеанским, чем сам Ницше.

Чувство места

Рецензия на: Йозеф Геббельс. Михаэль: Роман. Нью-Йорк: AmokPress, 1987.

«Михаэль» – это полуавтобиографический роман в форме дневника, впервые вышедший в 20-х годах и написанный человеком, которому тоже было слегка за 20. Геббельс имел диплом литературного института, но вскоре оставил литературное поприще ради карьеры политического публициста. Книга явно написана молодым человеком и как роман не особенно хороша. В языке больше силы, чем свежести. Кто знает, может быть, Геббельс счел бы это комплиментом. Не считая определенной, хотя и ограниченной ценности как документа эпохи, ранее недоступного в английском переводе, книга интересна своим подозрительно современным масс-медийным чутьем. Но об этом – чуть ниже.

Михаэль, ветеран Первой мировой войны, начинает дневник, будучи гейдельбергским студентом. Заканчивается роман гибелью героя в аварии на руднике – после того, как, отбросив роль интеллектуала, он бросается в адскую действительность жизни немецкого пролетариата, чтобы лучше, даже и в буквальном смысле, ощутить «твердую почву родины». На первый взгляд сюжет – набор банальных стереотипов. Мечтательный студент, переживший то, перед чем пасует интеллектуализм, теряет интерес к лекциям, но обретает интерес к небу вокруг, к лесу, к озеру – и к подруге-студентке ХертеХольк, чьи глаза – «серовато-зеленые вместилища тайн».

Михаэль сочиняет эпическую драму о жизни Христа, где христианский бог показан как «бог силы. Он ненавидит дым ладана и бесчестие ползущих толп». По мере того как Михаэль осознает свое предназначение, Херта остается за бортом – не исключено, что к обоюдной радости. Михаэль пишет: «Я целую Херту Хольк в ее мягкий мечтательный рот, оба мы смущены». И все. Не то чтобы Михаэль был неспособен на эмоциональный контакт: но он немецкий романтик. Летом, на острове в Северном море, его «лучшим другом» становится юноша по имени Густав Адольф. Густав, судя по всему, весьма пораженный внешностью Михаэля, впоследствии пишет ему: «Ты все еще такой же загорелый, как был?»

Глубинная страсть Михаэля – это политика. Социалист, он видит борьбу между трудом и деньгами – но не борьбу за деньги: это был бы марксизм, «доктрина денег и животов», где «человек рассматривается как машина». В этом Геббельс предвосхищает романтизм «новых левых», их неприязнь к отчужденному труду и отчужденной культуре. И это не единственный современный мотив у романиста времен Веймарской республики. Михаэль замечает: «Во мне поднимается крестьянская кровь», – как многие феминистки и защитники природы, он отождествляет социальное спасение с возобновлением связи с природой. Хотя конкретные роли, которые Михаэль отводит женскому полу, сегодня вызвали бы разногласия, но, как и современные радикальные феминистки, он постулирует фундаментальную дихотомию мужского и женского восприятия.

Но прежде всего Михаэль выведен как человек своего времени – и нашего времени – в том, как он утверждает центральную роль *труда*, главной отличительной черты человека. «Труд приносит свободу», – не единожды произносит он. Сам Михаэль достигает спасения, жертвуя всем и погибая в конце концов в руднике. Трудясь в поте лица в чреве Матери – Сырой земли, он понимает глубинные истины, недоступные рациональному восприятию: «Дом! Земля! Мать!». Его социализм – это принесение себя в жертву ради своего народа: «Мы, современные немцы, похожи на социалистов Христа». «Труд есть война!» – восторженно добавляет Михаэль; это призыв к величию.

Для современного читателя почти намеренно банальный словарь Геббельса – вызов даже больший, чем бесцветный сюжет. Кажется, что Геббельс специально выбирает самые затертые фразы – «белый, как снег», «тяжкое бремя труда» – как будто мало вложенной в уста Михаэля напыщенной безвкусицы («Искусство – это не только способности, это еще и борьба»), которую невозможно принять всерьез. (Точно так же некоторые абзацы, по современным стандартам доказуемо антисемитские, надо понимать как дурно выбранные метафоры и как дань предрассудкам своего времени – подобно аналогичным вульгарностям, высказанным Марксом за 70 или 80 лет до того. Геббельс, как и Маркс – человек своего времени и своего места. Как и все мы.)

Но это не случайная неуклюжесть, это зарождающееся искусство. Геббельс сознательно избегает любой свежести, оригинальности в метафорах и сравнениях. Его цель – на загадывать загадки для космополитов, а побуждать к действию обычного человека. Как полагает Михаэль, «стиль-это все!» Геббельс, несмотря на неоспоримую литературную посредственность, говорит языком масс – языком коротких рубленых предложений, еще более коротких словосочетаний, обычно усиленных барочной пунктуацией, и приукрашенных общих мест. В самом начале Михаэль жалуется: «Мы, немцы, слишком много думаем». Геббельс предлагает решение этой проблемы: или действительно популярный, или просто популистский дискурс, занимающий, как современные бестселлеры и видеоклипы, место на самом верху низовой культуры.

И в самом деле, спустя 70 лет Геббельс кажется современным не столько из-за того, что он говорит (хотя он и озвучивает многие современные темы), сколько из-за того, как он это говорит. Он – человек для масс-медиа, его роман не влезает в смиренную рубашку печатной книги. Чутье Геббельса требует света, музыки, публичного зрелища. Вскоре, с приходом кино, радио и телевидения, для его целей появятся средства. Беспомощные в качестве литературы, образы и клише, движущие роман «Михаэль», могли бы оказать глубочайшее действие на газеты, журналы, кино, радио, на весь аппарат современной индустрии сознания. Имей он в руках современные кинематические и вещательные технологии, кто знает, чего бы Геббельс мог достичь?

Новые темные века

Рецензия на: Рудольф Карлайл Эванс. Воскрешение аристократии. Порт Таунсенд (Вашингтон): Loompanics Unlimited, 1988.

Бесчисленные эксперты подсчитывают кризисы в западном обществе. Кто-то предсказывает падение индустриализма. Кое-кто даже радуется катастрофе, видя в ней шанс построить утопию – или футуристически-кибернетическую, или в духе неопалеолита. Но обе школы постиндустриального утопизма предполагают будущее, где все будут жить в мире и все будут принимать решения. Здесь, по Рудольфу Карлайлу Эвансу, их взор мутнеет, а храбрость им изменяет. Все согласны, что многие века западный человек воевал с природой, в том числе со своей собственной – с катастрофическими результатами. Но для Карлайла путь к спасению ведет вспять – к феодализму, к бесстрашной власти гордой воинственной аристократии над безусловно подчиняющимся крестьянством. Так предназначенное властвовать меньшинство реализует свою судьбу... а большинство, превращенное в массу, наконец-то получает то, чего на самом деле хочет: свободу от свободы.

Карлайл, будто меч, кует синтез правой и левой критики нашего безличного, атомизированного, материалистичного, бюрократического, потребительского, природоубийственного массового общества, которое не может жить и не будет. В его сочетании антикапитализма, антисоциализма, сексизма и панегириков сильному человеку действия больше от фашистского интеллектуализма – включая фашистский интеллектуальный антиинтеллектуализм, – чем он признает. Сам он предпочитает смущать либералов и леваков цитатами, почерпнутыми из длительного, хотя порой и бессистемного изучения Маркса, Милля, Шумахера, Маркузе, Шумпетера, де Токвиля, Эрнеста Манделя, Эриха Фромма, анархиста Мюррея Букчина и т. д.

Но с другой стороны, Карлайл против расизма, против национализма, он неприимый враг государственных массовых мобилизаций – хоть фашистских, хоть сталинистских. В его утопии нации, взятые как культурно-лингвистические сообщества, не исчезнут полностью, но, как правило, не будут собраны воедино какой-то центральной властью. Вместо этого – рыхлые агломерации господских владений, непрерывно соперничающих за силу и славу и всегда готовых объединиться против слишком сильного аристократа, который задумал бы подчинить бояр. Общество, которое Карлайл предвидит – в основном земледельческое, технологически неизощренное и с минимальной торговлей, со стабильным населением, которого будет куда меньше, чем сейчас, и пребывающее в гармонии с природой. Что же странного в надстройке из крепостничества и феодализма при таком материальном базисе – почти неотличимом от того, что предсказывают разные деятели анархизма, технологического минимализма и «ню-эйдж»? В смысле, это же не в первый раз, да?

Что до других постиндустриальных пророков, то Карлайл презрительно отбрасывает их ценности – гуманизм, демократию, законность, равенство, технический

прогресс – которые он, реакционер, издевательски объявляет консервативными пережитками обреченного и выродившегося статус-кво. Все они тоже часть проблемы, у которой (настаивает Карлайл) есть решение – только одно решение, жесткое, но единственно выражающее истинную человеческую природу. Современный мир от слишком многих требует слишком многого и дает слишком мало возможностей для их господ от природы. (Вопрос: если они такие господа, то почему уже сейчас не перестроили все на свой лад?)

Хотя сам Карлайл такую мысль возмущенно отвергнет, мне кажется, что он прагматик, хотя и с довольно странными идеями о психологии. Он постулирует, судя по всему, для всех культур (при всем интересе к «западному человеку», какое сверхчеловеку дело до Запада и Востока и до добра и зла?), два неизменных класса – правителей и подчиненных. Он настаивает, что рядовым гражданам лучше всего, когда они пахут землю, добывая скудное, но обычно достаточное пропитание, когда простые природные культы дают простые ответы на простые вопросы о смысле жизни и когда можно гордиться силой и доблестью своего господина.

Может, и так. Но почему Карлайла это вообще занимает? Истинные аристократы никогда не жалуются и никогда ничего не объясняют – они делают, что хотят. Дворяне замечают класс, не индивида. Неужто Эванс – Моисей от постмодернизма, чья судьба – увидеть отблеск Земли Обетованной, где власть (и почва), но, задыхаясь в путях интеллекта и чувств, никогда не взойти в нее самому?

Так сказал Митти

Рецензия на: Рагнар Редберд. Правда – в силе. Порт Таунсенд: Loompanics Unlimited, 1984.

Единственное, что мы точно знаем про «Рагнара Редберда» («Рагнара Краснобородого») – это что в 1896 году на нашем континенте некто под таким именем выпустил в свет книгу «Правда- в силе», «которая дожила до наших дней совершенно безотносительно к народной любви или вниманию академических кругов» (С.Е. Паркер). Возможно, Редбердом был новозеландец Артур Десмонд, который боролся за различные радикальные ценности (права аборигенов, тред-юнионы, единый налог) – потом переехал в Австралию, а оттуда – в Соединенные Штаты. Если так, то свои ценности он переоценил – вернее, выкинул на помойку.

Редберд – не то воплощение социального дарвинизма, не то пародия на него. Сам он был интеллигентом-бумагомарателем – кем же еще? все, что от него осталось, это одна книга – но, по-видимому, мечтал о жизни вольного наемника, сильного статью вожака стаи, извергающего страшные клятвы, пия мед из рога. «Правда – в силе» – это «Так говорил Заратустра», переписанная Уолтером Митти. Редберд пытается, в значительной степени безуспешно, не просто абстрактно опровергнуть морализм, но победить его на внутреннем уровне – вызвав на песенную дуэль. Но он рабски следует нескольким самым распространенным предрассудкам своего века. Его мисогиния и расизм не просто избыточны. Они выдают пристрастие к рыночному хищничеству с его равными возможностями и победителем, получающим всё.

В каком-то смысле Редберд уж точно над нами издевается. Он очевидным образом слишком хорошо знаком с современными ему социальными и экономическими теориями и не может всерьез полагать, что систематическая эксплуатация невиданного богатства нового индустриального общества – это то же самое, что налет на почтовый дилижанс, только в большем масштабе. Никто из презираемых Редбердом современников-социалистов не был так прямолинеен.

Неважно. Вульгарная (хоть и благозвучная) напыщенность Редберда, несмотря на весь надрыв, это прежде всего слабительное – прочищающее мозги своей грубостью, хоть и лишенное пищевой ценности. Редберд – даже более тонкий иронист, чем он думает. Посвятив целую книгу возвеличиванию человека действия, он неопровержимо доказал, что сам к таковым не принадлежит. Настоящие кондотьеры не пишут книг (и не читают, если уж на то пошло). Рагнар Редберд – такой же Сверхчеловек, как Иди Амин Дада – мастер художественного перформанса.

Идти против природы – это тоже природное свойство

Рецензия на: Роберт Антон Уилсон. Естественный Закон, или Не натягивай резинку на стручок. Порт Таунсенд: Loompanics Unlimited, 1987.

Это остроумное полемическое выступление куда познавательнее (и куда занятнее), чем можно предположить, узнав его предысторию.

В 1983 году «Лумпаникс» выпустили «Миф о естественных правах» Л.А. Роллинса. Это была уничтожающая критика теорий Естественных Законов, которые в то время продвигали четверо видных деятелей либертарианства. В 1985 году Роллинс спорил со своими врагами – и с Робертом Антоном Уилсоном – на страницах журнала «Новый либертарианец». По привычке редактор Сэмюэл Эдвард Конкин III вставил свои комментарии в чужие тексты – в случае Уилсона комментарии критические. Взбешенный тем, как Конкин «не давал ему говорить», Уилсон написал в ответ «Естественный Закон». Видно, его действительно разозлили – судя по тому, что он отвлекся от своей обычной интеллектуальной беготни и сочинил такую эзотерическую ругательную песнь.

Несмотря на узкий контекст, «Естественный Закон» вызывает на битву всех – леваков с либералами не меньше, чем либертарианцев – кто верит, что некие универсальные сущности, «права человека», действительно «существуют» в реальном мире. Удивительным образом. Природные Законники (как Конкин с явным недостатком иронии называет своих сторонников) соглашаются друг с другом в том, что Естественный Закон существует, но не могут согласиться, в чем именно он состоит. Для римского папы, замечает Уилсон, Естественный Закон – это «не натягивай резинку на стручок». Для покойного аятоллы – это что жена не может подать на развод за то, что муж изнасиловал верблюда, но может, если он отпидорасил своего шурина. Для либертарианцев – это что частная собственность священна. Уилсон считает, что многие природные явления и культурные артефакты весьма хороши, это так, но ничто не священо.

Терпеливо, как будто детям, Уилсон объясняет Законникам, что они перепутали законы природы (описывающие наблюдаемые в природе закономерности) и законы в юридическом смысле (которые предписывают, не описывают человеческое поведение). В сущности, они создали целую философию из случайного совпадения слов. На самом деле, юридические законы и моральные принципы начинаются именно там, где кончаются законы природы, их цель – не дать людям делать что-то естественное. Никого не приходится отправлять в тюрьму, например, за невыполнение закона Ньютона.

Объявлять тех, кто не верит в Естественный Закон, Преступниками Вне Естественного Закона, подобно Конкину – это все равно, что называть атеиста сатанистом.

На самом деле, и адвокаты, и преступники предполагают, что закон существует (а сатанизм – это не атеизм, а христианство, в котором хорошие и плохие поменялись местами). Природные Законники считают, что формулируют аргумент, но на самом деле всего лишь принимают требуемый вывод за исходную аксиому. Они не отрицают различия между нормальным и нормативным – они просто не могут представить себе, что такое различие существует.

Так вот, вообще-то Уилсон – оппортунист, следующий за модой (как иначе мог бы он подвизаться одновременно в качестве футуриста, субгения и поклонника «нью-эйдж»?), но здесь он показывает себя толерантным, гуманным, кристально четким спорщиком. По сравнению с ним соперники перевозбуждены и упрямы. Один из них, экономист Мюррей Ротбард, писал в «Новом либертарианце», что еретиков, которые не верят в Естественный Закон, надо в назидание бить по голове стульями. Как отмечает Уилсон, сей аргумент по логической форме повторяет предложение, которое он вроде бы видел в рассказе Ринга Ларднера: «Заткнись! – объяснил он».

Я думаю, что этот раунд Уилсон выигрывает по очкам.

Что бы вы ни предлагали, я против

Рецензия на: Л.А. Роллинс. Лексикон Люцифера. Порт Таунсенд: Loompanics Unlimited, 1987.

Л.А. Роллинс пишет короткие, словарного типа заметки – вернее, противометки. Он из братства тех, кто отрицает оба ответа на любой вопрос; отказник, который всегда не к месту. Он бьет игрой слов по словоблудию. Роллинс знает, что «не хлебом единым жив человек, но также и зрелищами». Он не верит даже в скептицизм (в конце концов, агностик – это просто «богобоязненный атеист»). Для него нет такого отдела в человеческой жизни, где вам не выставили бы счет.

Недовольство Роллинса всеобъемлюще – от А (Аборт: «приостановка беременности без права переписки») до Z (Сионизм: движение, стремящееся «отдать пустыню Цветам»). Главное в его диатрибах – как в жизни – секс, религия и политика, но годится почти все: «Неподкупный, сущ.: переоцененный».

По некоторым из его шуток, обычному читателю, скорее всего, незаметным, я заключаю, что Роллинс происходит из объективистов (=фанатов Айн Ранд) и либертарианцев. В конце 1960-х он издавал «Invictus», «журнал индивидуалистской мысли». Но сейчас Роллинс преследует анархистов и индивидуалистов так же безжалостно, как всех остальных, но еще и с горечью разочарования. Ведь он верил... боже, как стыдно. Одно время главный либертарианский глянцевый журнал «Разум» печатал самые мягкие из *диффамаций* Роллинса, но в конце концов печатать Роллинса запретил.

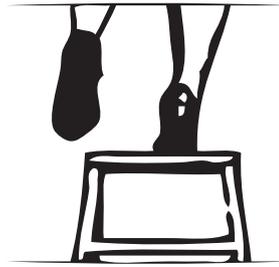
Но противогосударственный импульс все еще заметен. В-2 для Роллинса – это «витамин, важный для здоровья военно-промышленного комплекса». Никак не поддерживая аграрные субсидии, Роллинс определяет молочника как «того, кто доит общество, но руками не своими, а государства». Пусть он зовет Вьетнам «Советнам» – он также пишет, что «Солидарность» – это «братское чувство, которое американские капиталисты испытывают к польским рабочим». (Рейган разогнал профсоюз авиадиспетчеров точно тогда же, когда генерал Ярузельский разогнал «Солидарность».)

Многие из тех, кто сможет переварить остальное – пускай с содой, – опустят руки, если не голову, перед наименее популярной роллинсовской ересью – ревизией Холокоста. (Да, он действительно использует слово на «Е».) Роллинс писал на эту тему, и огорчение по поводу холокоста, который борцы за гражданские права устроили ревизионистам, заставило его использовать слабые аргументы. В качестве «примеров» к некоторым определениям он насильно вставляет цитаты, очевидно, служащие для пропаганды ревизионизма – хотя трудно не испытать отвращение, прочитав некоторые точно процитированные публичные высказывания типов вроде Меира Кахана и Эли Визеля. Вылазка Роллинса против одного из защитников ООП, уж конечно, не спасет его от обвинения в антисемитизме – несмотря на такое определение нациста:

«Тоталитариец. Тот, кто верит, что блондинам должно быть веселее – а не то. Раньше, надсмотрщик; теперь, подстилка».

Но с другой стороны, догма – это «подстилка для веры», а священные коровы – «пища для свободомыслия». Я согласен с Роллинсом в том, что белый расист – «неполноценный представитель белой расы». Но согласие – это последнее, что волнует людей типа Бирса, Марка Твена, Крауса, Менкена – и Роллинса. Эти мизантропы плавают под чужими флагами – циников, эгоистов, насмешников – эти комические Кассандры, подобно Христу, сами себя распинают во имя стада, для которого не видят надежды. Нет, извините, не подобно Христу. Христос был оптимист, у него были Связи. Сатирики-пессимисты больше похожи на норвежских богов, которые знали, что обречены, но все равно собирались сражаться с гигантами. Жестокий и нетрадиционный юмор – один из немногих жанров, где до сих пор есть место для героизма. Да и кто знает – бросок наугад (например, из пращи) изредка таки да, сваливает Голиафа.

Библиотека Анархизма
Антикопирайт



Боб Блэк
Анархизм и другие препятствия для анархии
2004

Боб Блэк. Анархизм и другие препятствия для анархии / Сост., пер. с англ. и примеч.
Д. Каледина. М.: Гилея, 2004. 224 с. Тираж 1500 экз. (Серия "Час "Ч" - @втономная
линия")

тексты без предисловия доступны на
<https://piter.anarhist.org/black.htm>, черновик на
<http://imperium.lenin.ru/~kaledin/bblack/>

ru.theanarchistlibrary.org